

- [Газданов Гайто](#)

-



Газданов Гайто

Пробуждение

Гайто Газданов

Пробуждение

Point n'est besoin d'espérer pour
entreprendre ni de réussir pour persévérer.

{ "Нет нужды надеяться достигнуть цели, добиться
успеха, если не приложишь сил и настойчивости" (фр.). }

Вильгельм Оранский

Пьер Форэ уехал из Парижа скорым поездом, отходившим с Аустерлицкого вокзала в половине девятого утра. Это было второго августа. Третьи сутки подряд лил бесконечный дождь, и в ночь, предшествующую отъезду, Пьер просыпался каждые два или три часа и всякий раз слышал все тот же шорох влажных листьев под своим окном, против которого рос высокий каштан. Ему иногда начинала казаться нелепой мысль о поездке в отпуск: не все ли равно, где мокнуть под дождем - в Париже или в какой-то далекой глуши, за сотни километров отсюда? Но билет был куплен давно и приходилось ехать, независимо от того, казалось ли это целесообразным и своевременным.

В сущности, это вышло случайно. Вероятнее всего, Пьер остался бы в Париже, если бы не встретил две недели тому назад Франсуа, того самого, которого в лице товарищи называли "сусликом" и который теперь был журналистом. Франсуа пригласил его в кафе, они сидели на террасе и разговаривали.

Франсуа сказал:

- Быстро проходит все-таки время, а? Ты куда едешь на лето?
- Никуда, собственно, останусь в Париже.
- Почему?

Пьер пожал плечами и ответил, что ему никуда не хочется ехать.

- У меня идея, - сказал Франсуа. - Приезжай ко мне. Помещение у тебя будет бесплатное, расходы на еду будем делить поровну. Я летом живу у черта на куличках - никого вокруг, только река и лес. А? Что ты скажешь?

И он объяснил Пьеру, что несколько лет тому назад ему достался по наследству небольшой кусок земли в одном из южных департаментов; там было несколько деревьев, колодец и полуразрушенный дом с маленьким флигелем.

- Развлечений мало, - сказал Франсуа. - Тишина зато необыкновенная, только по вечерам кричат лягушки в пруду недалеко. Газа нет, электричества тоже нет. Ты погружаешься в четырнадцатое столетие - без газет, без журналов, без радио. Деревья, вода и трава, больше ничего. И еще нечто вроде пещеры, где ты будешь жить, - шершавые стены, земляной пол и хромая табуретка. Это тебе подходит?

Пьер согласился, не подумав и изменив на этот раз своей обычной медлительности в решениях.

Через несколько дней после этого он пожалел о своем согласии, но Франсуа уже не было, он уехал в Орлеан, откуда должен был отправиться к себе на юг, не заезжая по дороге в Париж, и предупредить его о перемене решения у Пьера не было возможности. Он заблаговременно купил себе билет, уложил в чемодан все, что было нужно, и вот теперь, второго августа, он сидел в вагоне и ехал в эту самую глушь, о которой рассказывал Франсуа.

В его купе ехал старый крестьянин со своими тремя сыновьями молчаливые люди с загорелыми лицами и руками, в неловко сидящих на них городских костюмах, явно купленных в провинциальном магазине готового платья, - и какая-то толстая дама с двумя детьми: некрасивой девочкой лет десяти, которая то дремала, то читала книжку с картинками, и мальчиком лет семи, единственным пассажиром, не умолкавшим ни на минуту: - Мама, вот там стоит паровоз! Мама, почему он не двигается? А на нем нет механика? Нет, вот механик! И вот кочегар! А вот контролер! Почему наш паровоз не гудит? Вот идет дама с девочкой! Вот идет носильщик! Паровоз будет делать: ту-ту-ту! Почему мы еще не уезжаем? Ту-туту! Осторожно, поезд сейчас будет отходить! Нет, он еще не отходит!

Толстая дама отвечала: - Да, мой миленький. Нет, мой миленький. Да, мой миленький. Нет, мой миленький. Обветренные лица крестьян были каменно неподвижны. Пьера раздражали и голос мальчика и его детская глупость, но он тоже молчал. Он вышел в коридор, но там нельзя было протолкнуться, люди сидели на

чемоданах, занимая проход, какой-то солдат просто лежал на полу, подстелив под себя газету. Пол равномерно вздрагивал от движения поезда. Пьер посмотрел вниз, на газету; под левым локтем солдата были видны слова "убийца из ревности", но следующие строки пропадали где-то между поясницей и спиной, и только значительно ниже, еще в одном месте острым углом вырисовывался кусок столбца, на котором можно было прочесть: "Утопленница Луары наконец опознана. Речь идет о..." - Ту-ту-ту! - кричал мальчик.

- Да, мой миленький, - отвечала толстая дама. - Мама, ты видишь, идет дождь! - Да, мой миленький. - Мимо забрызганных стекол вагона мелькали мокрые заборы, люди под зонтиками, шагавшие по дороге, которая то появлялась, то исчезала, птицы на телеграфных проводах. Было прохладно и сыро. Пьер сел на свое место в углу, притиснутый толстой дамой, не выпускавшей из рук вязанья. Крестьяне ели хлеб с сыром и колбасой, отрезая каждый кусок перочинным ножом и поднося его ко рту, и запивали еду красным вином, которое расплескивалось в стакане от вздрагивания поезда.

За окнами вагона стелился влажный туман, пересекаемый тем же бесконечным дождем, пролетал белыми клочьями пар от паровоза, дымились смутно возникающие и тотчас исчезающие поля. В купе стоял упорный запах овернского сыра, красного вина и чего-то несвежего и трудноопределимого, и от этого Пьера начинало тошнить. Он снова вышел в коридор, долго стоял там, но наконец устал и, вернувшись на свое место, сел и закрыл глаза.

Сначала он не думал ни о чем и только невольно вслушивался в равномерное вздрагивание поезда. Затем вдруг перед его глазами возникла - он никогда не мог понять потом, почему именно, - маленькая книжка с твердой обложкой, которую ему подарил отец, когда Пьеру было девять лет, книжка сберегательной кассы с записанной в ней суммой в сто франков. В те времена его отец, - Пьер помнил его грузным человеком с отвисающими щеками, которые, казалось, никогда не были ни особенно небритыми, ни свежесбрившими, - в мешковатом костюме, с палкой или зонтиком в руках, - в те времена его отец придавал большое значение сберегательным кассам. Это, впрочем, продолжалось недолго и было вдобавок чисто теоретическим, но заняло известное место в той эволюции принципов, как он выражался, которая была любимой и

всегдашней темой его рассуждений. Уже несколько месяцев спустя он говорил, что сберегательные кассы - это ловушка для наивных и доверчивых людей и спекуляция на скупости. Кроме того, у отца Пьера никогда не было денег - ни в сберегательной кассе, ни где бы то ни было вообще, хотя он занимался коммерческими делами и все жалел, что у него нет достаточного оборотного капитала. Он был необыкновенно словоохотлив, многоречив и отличался способностью говорить с жаром о чем угодно - о кулинарии, о принце Уэльском, о капитализме, о балете, о политике, о скачках, о литературе. Обо всем этом у него было очень приблизительное представление, но это не имело значения, потому что любой вопрос служил только предлогом для того, чтобы он, Альберт Форэ, мог как-то использовать ту непонятную и чисто словесную энергию, которая была для него характерна. Он как-то шутя сказал жене в ответ на ее очередной упрек в многословии:

- Можешь мне поверить, дорогая: когда я стану молчалив, это будет значить, что дело плохо. Ты это запомни.

Но несколько лет спустя, когда это действительно произошло, никто не вспомнил о его словах, которые оказались совершенно пророческими. Он замолчал, не произносил ни слова неделями и только изредка тяжело стонал. Он знал, что он умирает, задолго до того, как это стало понятно окружающим, - и когда он остался наедине с этой перспективой смерти, ему нечего было сказать, так как все слова были бесполезны. Он не думал об этом, ему никогда не приходила в голову мысль о возможности какого-то праздного и воображаемого диалога со смертью, но он чувствовал ее неудержимое приближение и ждал конца с тем тупым и неизменным ужасом, который совершенно парализовал в нем всякое желание сказать что бы то ни было. Пьер очень хорошо помнил те тягостные минуты, когда он должен был входить в комнату, где лежал умирающий, - ее притворенные ставни, сумеречные очертания предметов и тяжелый запах, исходивший от больного. - Пойди к нему, торопливо говорила Пьеру мать, - ты знаешь, как он всегда рад тебя видеть. Скажи ему, что у него сегодня лучше вид, чем обычно, это доставит ему удовольствие. - Пьер не знал, понимала ли она, насколько фальшиво звучало все, что она говорила, но покорно ее слушался каждый день и произносил все, что следовало, по ее мнению, произносить, никогда не получая

никакого ответа: отец молчал в его присутствии так же, как всегда. Было совершенно очевидно, что приход Пьера не доставлял ему никакого удовольствия, так же как было очевидно, что слово "удовольствие" давно потеряло для него всякое значение и он был больше не способен его понять. За время болезни у него выросла густая черная борода, делавшая его неузнаваемым, и когда он наконец умер и Пьер увидел его последний раз, ему было нужно сделать над собой усилие, чтобы понять, что это худое, желтое лицо с черной бородой, незнакомое и призрачно неподвижное, - лицо Альберта Форэ, его отца. И только много месяцев спустя Пьер, сидя один и задумавшись Бог знает о чем, вдруг вспомнил, что когда ему было двенадцать лет, он проходил однажды по Севастопольскому бульвару и увидел, что на террасе кафе сидел его отец, совсем не похожий на себя, с веселыми и мутными глазами, - рядом с полной молодой дамой в зеленом платье, которая все время смеялась. Когда Пьер подошел совсем близко, отец схватил его за рукав, притянул к себе, - от него пахло вином и еще чем-то особенным, аптекарским, - и сказал:

- Это мой сынок, Пьер, хороший мальчик. И, наклонившись к его уху, прибавил шепотом:

- Никому не говори, что ты меня видел, а? А через два дня, вечером, произнося свой очередной монолог, он сказал, обращаясь к жене:

- Всем известно, что одно поколение не понимает другого. Но будем надеяться, что наши дети не будут нас судить слишком строго.

И посмотрел при этом на сына. Пьер отлично понял тогда, что именно имел в виду его отец. И когда он вспомнил обо всем этом через несколько месяцев после его смерти, он вдруг подумал, что никогда больше не будет ни этого осеннего дня, ни этой смеющейся женщины в зеленом платье, что все сдвинулось и смешалось, как сон, исчезая в том неизвестном пространстве, куда с таким упорным молчанием уходил потом Альберт Форэ и которого он достиг в тот день, когда Пьер увидел его неузнаваемым, чернобородым труп.

Поезд продолжал идти, проникая, казалось, все глубже и глубже в дождь и туман. Слова "сберегательная касса" опять появились перед глазами Пьера и тотчас же пропали. После смерти Альберта Форэ на его собственном счету оставалось четырнадцать франков. - Твой отец нас разорил, - сказала ему мать. - Теперь, Пьеро, ты глава семьи. Мы

работали всю жизнь. Если бы твой отец не играл на скачках... Что касается меня, я всегда выполняла свой долг. - И она заплакала.

"Мы работали всю жизнь..." Она действительно никогда не оставалась без дела. Она натирала полы, мыла окна, готовила, стирала, чистила овощи, выносила мусор, шила, вытирала пыль, и когда наконец казалось, что сделано решительно все, она садилась в свое твердое кресло и начинала вязать. Но, кроме этого, ее ничто не интересовало, и у нее никогда не было даже желания прочесть газету. Когда они бывали всей семьей в кинематографе, раз в неделю, она была не способна сосредоточить свое внимание на фильме, который показывался, это ее только утомляло, и Пьер не помнил, чтобы она когда-либо сказала хоть несколько слов о том, что ей понравилось или не понравилось в картине. Когда отец ее спрашивал, что она думает, она неизменно отвечала одно и то же: - Не хуже, чем другие, - независимо от того, что это было исторический сюжет, мелодрама или фарс.

Пьер не помнил свою мать молодой, такой, какой она была изображена на семейных фотографиях, - полноватой девушкой с большими глазами. Тетка Жюстина, старшая сестра отца, огромная старуха с густыми бровями и большим носом, вся всегда в черном, как-то сказала отцу в его присутствии:

- Ты помнишь, Альберт, какой прелестной была твоя жена, когда ты был только ее женихом?

Но это, казалось, было чрезвычайно давно и исчезло настолько безвозвратно, что представлялось почти неправдоподобным. Со стороны можно было подумать, - Пьер перебирал все мысли, которые возникали у него о матери и о семье, - что ее прелестность, в которую верилось с таким трудом, существовала только до ее замужества; после замужества необходимость в ней прошла и она исчезла одновременно с этим. Иногда ему казалось просто невероятным, что целая человеческая жизнь, со всеми ее возможностями, воспоминаниями, иллюзиями и надеждами, могла быть сведена к такому бесконечно неинтересному существованию: базар, обед, ужин, уборка квартиры и больше ничего никогда, ни при каких обстоятельствах. Но в ней все-таки, правда, оставалось то теплое и нежное, что Пьер помнил с детства, прикосновение ее полных рук, ее вечерний поцелуй перед сном - пора бай-бай. Пьеро, мой зайчик.

На монологи отца мать обычно отвечала пожатием плеч, и было очевидно, что они ее совершенно не интересовали, о чем бы ни шла речь. Было, казалось, только два предмета, которые занимали ее внимание, - необходимость экономии и все, что было с ней связано: цены на мясо, на сахар, на хлеб, на вино, именно то, к чему Альберт Форэ был совершенно равнодушен - и что ее раздражало, - и наследство тетки Жюстины. Об этом наследстве Пьер слышал всю свою жизнь, на нем строились всевозможные расчеты, вплоть до кругосветного путешествия и покупки собственного дома где-нибудь недалеко за городом. Только значительно позже он узнал, что богатство тетки Жюстины было приобретено вовсе не экономией или какими-либо хозяйственными добродетелями, а тем, что она переменяла за свою жизнь несколько очень состоятельных покровителей: один из них купил и обставил ей дом, другой подарил ей чуть ли не целую витрину ювелирного магазина, третий еще что-то, - в общем, это была смена неправдоподобных историй, вроде тех, какие Пьер читал в тоненьких дешевых книжках, подписанных именами совершенно неизвестных авторов. И когда он вспомнил эту громадную старую женщину в черном глухом платье, похожем на рясу деревенского кюре, эти мохнатые брови и крупный нос, возможность подобного обогащения именно ее, тетки Жюстины, казалась ему до удивительности плохо придуманной и фальшивой. Вместе с тем это было все-таки именно так: дом стоял на своем месте, как неопровержимое каменное доказательство всей этой неправдоподобной истории, драгоценности лежали в сейфе, а деньги в Лионском Кредите; и самая очевидная убедительность этих страшных бровей и огромного носа была бессильна перед фактами. И все-таки Пьер продолжал не понимать, как у этой женщины, которую он знал старухой, вдобавок на редкость некрасивой, могла быть - даже десятки лет тому назад такая бурная жизнь, как можно было быть в нее влюбленным, как она могла находить людей, которые были готовы дать ей все - дом, деньги, драгоценности. Она казалась ему похожей на огромную старую птицу с клювом и круглыми неподвижными глазами сплошного черного цвета.

И вот однажды, года два тому назад, ему попался старый семейный альбом, о существовании которого он не знал и который он нашел случайно, в подвале, куда он пошел за какой-то доской. Один

фотографический снимок обратил на себя его внимание. Это была фотография молодой женщины с неправильными чертами лица, некрасивости которого не могли изменить никакие усилия ретуши; и несмотря на все это, в этом лице была необыкновенная привлекательность, неопределимая и неотразимая одновременно. Чья это могла быть фотография? Он осторожно вынул ее из альбома. На ее обратной стороне было написано от руки размашистым почерком: Жюстина Форэ, май тысяча восемьсот восемьдесят второго года.

Когда тетка Жюстина приезжала к ним в гости, ей подавались ее любимые блюда, мать Пьера окружала ее заботами и даже голос ее приобретал какие-то особенные интонации, которые невозможно было себе представить без присутствия тетки.

Поезд остановился, простоял несколько минут на какой-то станции, потом опять тронулся, и Пьер снова стал думать о том, что его занимало до остановки, - так, словно движение этих воспоминаний точно соответствовало ходу поезда.

Столько лет тетка Жюстина приезжала к ним в их маленькую квартиру, недалеко от площади Данфэр-Рошера, столько раз она сидела за столом и ела с неприятной старческой жадностью то, что ей подавала мать. - Как вы находите курицу, Жюстина? Вам не кажется, что рис чуть-чуть суше, чем следовало бы, Жюстина? Достаточно ли вам тепло, Жюстина? - И все это было совершенно зря. Это было зря - потому что и приобретение загородного дома, и проект кругосветного путешествия, и все остальное, - это был праздный вздор, абсурдные иллюзии, глупейший мираж, "мечта, которая рассыпалась прахом", как сказал Альберт Форэ, - потому что перед смертью тетка Жюстина оставила завещание, по которому все ее имущество переходило монастырям. И в то время, как мать плакала, узнав об этом, отец ходил по комнате и говорил, что все в конце концов логично и что еще не было примера, чтобы католическая церковь отвергала пожертвования грешниц. - Они не зададут себе вопроса о том, каким путем все это было заработано и откуда им идет это украденное у нас богатство? Да, нас обокрали, - сказала мать. - Запомни это, Пьер, и никогда этого не забывай: нас обокрали.

Эта фраза потом стала совершенно обычной; по мере того как проходило время, она теряла свою первоначальную горечь, но смысл ее не изменялся: После того как нас обокрали, - вы понимаете, я

говоря об этом позорном случае с теткой Жюстиной... - Ты помнишь, Альберт, это было вскоре после того, как нас обокрали... - В сущности, это был удар, от которого Альберт Форэ никогда не мог оправиться. Когда Пьер думал о своем отце, он неизменно приходил к заключению, что тот строил все свои планы, и в особенности планы обогащения - путешествия, загородный дом, - на совершенно произвольных предположениях, сводившихся, в общем, к постоянному расчету на чудо. Он мог, в частности, разбогатеть, выиграв огромную сумму на скачках, купив билет Национальной лотереи или, наконец, получив наследство тетки Жюстины. Другие способы составить состояние его мало интересовали и казались ему несбыточными, - в такой же мере Пьеру было очевидно, что именно расчеты на выигрыш или на наследство меньше всего следовало принимать во внимание. И оттого, что Альберт Форэ всю жизнь верил со слепой наивностью в выигрыш или наследство, он вел свои дела с такой неизменной небрежностью. Он, впрочем, допускал возможность постоянной ошибки в своих расчетах на выигрыш; но в том, что он, именно он, получит наследство, он никогда не сомневался. Он верил в это еще и потому, что ему, как многим людям, казалось, что он, Альберт Форэ, конечно, заслуживает лучшей участи, чем та, которая выпала на его долю.

Он был убежден, никогда об этом не думая, что ему естественно иметь в своем распоряжении крупные деньги и что его теперешнее положение, - которое было бы понятно, если бы речь шла о ком-нибудь другом, - для него было особенно унижительно, так как у него должна была бы быть совершенно другая жизнь - богатство, женщины и даже известность. Тот несомненный факт, что у него не было для этого решительно никаких данных и что он ничем не выделялся среди других - ни знаниями, ни способностями, ни умом, не играл никакой роли - для него не существовал. Он знал, что не заслужил своей участи, которую считал печальной и знал, что эта явная несправедливость судьбы будет рано или поздно возмещена наследством тетки Жюстины.

После ее смерти в доме наступили дни особенного злобного траура. Мать Пьеро часто плакала - по всякому поводу, иногда совершенно незначительному; но было очевидно, что если непосредственной причиной этих слез было, например, разбитое

блюдо, то объяснялось это все-таки наследством тетки Жюстины. Отец не плакал и даже избегал об этом говорить, но с неестественной быстротой постарел и помрачнел и именно тогда стал жаловаться на боли в груди и начал по-настоящему хворать. Все чаще и чаще он приходил домой в нетрезвом виде, и когда ему жена как-то сказала об этом, он ответил с такой искренне печальной интонацией, какой Пьер никогда раньше не слышал у него:

- Какое это может теперь иметь значение? Разве ты не понимаешь, что все кончено?

Но вопреки ожиданиям его жены, дела его несколько улучшились и он приносил домой больше денег, чем раньше. Это было тем более удивительно, что он стал еще невнимательнее, еще небрежнее, пропускал важные свидания, не являлся туда, куда было нужно, и вообще, казалось, махнул рукой на все. Через год после смерти тетки Жюстины он слег - и больше не встал. Он так хорошо знал, что он умирает, что в тот день, когда он прервал однажды свое обычное тяжелое молчание, он сказал Пьеру в ответ на начатую фразу;

- Когда, папа, ты начнешь выходить...

- Я выйду отсюда ногами вперед, сынок, ногами вперед, ты понимаешь, - и со стоном повернулся к стене.

А мать все прибирала, чистила, натирала полы, делая это автоматически и безошибочными движениями, и в день смерти Альберта Форэ она с утра начала мыть оконные стекла в столовой и вошла в комнату, где он умер, - в переднике и с тряпкой в руке, которую забыла бросить или положить куда-нибудь.

То, что больше всего запомнилось Пьеру, это лицо его матери, когда он как-то вернулся домой, через несколько дней после смерти отца. Когда он вошел в комнату, он увидел, что она сидела опустив голову и беззвучно плакала. На ней было старое платье и вечный ее передник, в правой руке она опять держала пыльную тряпку. В ее низко склоненной голове, во всем ее теле была такая глубокая усталость и такое непоправимое несчастье, что Пьер почувствовал, как слезы навернулись на его глаза. - Бедный мой Пьеро! сказала она едва слышно. Он сел прямо на пол перед ней, обнял ее колени, как он делал, когда был маленьким, и начал говорить ей, чтобы она не беспокоилась ни о чем, что он будет о ней заботиться, будет работать

и она не будет знать нужды. - Да, да, мой миленький, я знаю, - сказала она. - На тебя я могу положиться. Я не об этом плачу. Пьеро.

Он не решился расспрашивать ее. Ему все было ясно и без этого: такая долгая жизнь, упорная экономия, постоянная работа, никаких радостей, кроме иллюзорной надежды на чудесное разрешение всех вопросов - тетка Жюстина, - и все это совершенно впустую. А начинать сначала - слишком поздно, нет сил, и прожить второй раз жизнь нельзя. Так он думал тогда и решил сделать все, чтобы облегчить существование матери. Ему оставался год до получения аттестата зрелости, но он не вернулся в лицей. Через две недели после похорон отца он уже работал писцом в небольшом предприятии. Он относился к своему делу с необыкновенной добросовестностью, которая, однако, вовсе не объяснялась его интересом к работе и его служебным усердием, как это думал его хозяин, неизменно мрачный и неразговорчивый пожилой человек, один из бывших клиентов Альберта Форэ. Через месяц он сказал Пьеру:

- Ну, знаете, могу только сказать, что вы не похожи на вашего отца. Совершенно не похожи, совершенно.

Пьер не курил, не ходил в кафе и на службу отправлялся пешком. Все свои деньги он приносил домой, и в этом суровом воздержании от каких бы то ни было удовольствий он находил удовлетворение, заполнявшее его жизнь. По воскресеньям он сам натирает полы в квартире, никогда не забывает ни одного поручения матери и искренне страдает от того, что она, по многолетней привычке, вставала раньше, чем он, и приносила ему кофе в кровать. Она изменилась, постарела, стала медленнее в движениях, но чистила и мыла все по-прежнему. Иногда, в отсутствие Пьера, она разговаривала с соседками всегда о том, какой у нее заботливый сын.

- Я уверена, - говорила она, - что даже если он женится, то будет так же хорош ко мне, как теперь.

Проходили однообразные месяцы, не принося никаких изменений. Пьер знал, однако, что его мать успела отложить небольшую сумму денег, - потому что теперь всеми средствами она распоряжалась бесконтрольно в отличие от того времени, когда был жив Альберт, который ей давал ровно столько, сколько, по его расчетам, было необходимо, чтобы не умереть с голоду, как он говорил шутя. Затем Пьер получил повышение: ушел помощник

бухгалтера и он занял его место. Ему прибавили жалованье. Откладываемая сумма стала увеличиваться; два, иногда три раза в неделю мать теперь кормила его то кроликом, то дичью и начала говорить, что мужчине как-то неловко не курить. Затем, однажды заглянув в свой бумажник, Пьер совершенно неожиданно нашел в нем пятисотфранковый билет, который она ему туда положила, считая, что молодому человеку нельзя ходить без денег. Он пожал плечами и билета не тронул.

В сущности, не было никакой необходимости, особенно теперь, - он это прекрасно понимал, - в таком суровом аскетизме. Но он настолько к нему привык, что для него было действительно трагедией заказать себе, например, новый костюм. Он вовсе не был скуп, но ему казалось, что он не имеет морального права тратить такие деньги, в то время, как его мать была лишена самого необходимого всю свою жизнь. Ему доставляло особенное удовольствие отдавать ей все, что он зарабатывал, не оставляя себе почти ничего. Кроме того, он просто физически не любил деньги, ни кредитные билеты, ни монеты, и очень хорошо понимал кассира, веселого тридцатилетнего мужчину, который говорил:

- К деньгам я чувствую отвращение. Я их перебираю целый день, и под конец дня меня начинает тошнить.

Пьер не перебирал деньги, он имел дело только с их цифровыми отражениями. Длинные ряды чисел проходили перед его глазами каждый день задолженность, прибыль, отчетность, скидка, проценты, отчисления. В том, что все эти числа, в их постоянных смещениях и метаморфозах, подчинялись неизменным законам, никогда не допускавшим ни малейшего от них отклонения, был какой-то успокоительный и почти философский смысл, было какое-то напоминание о повторности всего происходящего. Пьер иногда думал об этом во время работы.

Но вообще он думал сравнительно редко. Ему казалось, что это происходит оттого, что знает мало вещей, которые заслуживали бы пристального и углубленного внимания. Политика его не интересовала, в книгах, которые он читал, он неизменно находил раздражавшую его искусственность построения, театра он не понимал. Где-то далеко от того мира, в котором он проводил свою жизнь, был другой мир, тот Париж, о котором он невнимательно

читал в газетах, - премьеры, балетные красавицы, кинематографические артисты, знаменитые писатели, художники, скаковые поля, лошади, жокеи, министры, обеды на Кэ д'Орсэ. Все это было неважно и неинтересно. Важно и значительно было то, как запомнились ему эти майские сумерки, когда он вернулся как-то домой, и это незабываемое выражение печали на лице его матери, низко склоненная ее голова и пыльная тряпка в ее руке.

Поезд опять остановился и снова двинулся. Глухо зашумела роцца, пролетевшая перед мокрым стеклом вагонного окна, потом опять мелькнула мутная зелень полей, и затем все шло перед глазами неровные желтые стены какого-то обрыва, с темными пятнами кустов, росших на скользком откосе.

Пьер смотрел в окно, но то, что возникло перед его глазами, было не похоже на эту глиняную стену. Он отчетливо вспомнил другие, осенние пейзажи, сначала Нормандию, куда его повезли, когда он был мобилизован в начале войны и где формировалась его часть, потом бельгийскую границу, бесконечные окопы, которые рыл саперный батальон, где он служил, письма от матери - дорогой мой Пьеро, у меня все по-прежнему... я все думаю о тебе... бедная Франция... мне кажется, что ты, мой дорогой мальчик, меньше всего заслужил то, что происходит сейчас... мой дорогой Пьеро, отправляю тебе посылку... помни, что я всегда думаю о тебе... я знаю, что я вправе гордиться таким сыном... Дорогой мой Пьеро... в моей жизни было мало счастья, но тем, которое было, я обязана тебе... если есть на земле справедливость, то Господь сохранит тебя...

Стояли жестокие зимние холода. Пьер спал, зарывшись в солому, проваливаясь в ледяную тьму и просыпаясь ранним морозным утром. Потом стало теплее, затем немцы начали наступление, говорили, что они давно обошли французскую армию, что все кончено и непонятно почему оцепеневший саперный батальон Пьера остался на месте, ожидая неизвестно чего. Потом, в сумерках, лейтенант Робино сказал Пьеру:

- Форэ, нас предали, нас ждет плен и бесчестие. Я уйду. Хотите идти со мной?

- Плен? - сказал Пьер, не понимая. - Плен? Бесчестие?

Где-то далеко был Париж, площадь Данфэр-Рошери, Мартина Форэ - его мать... дорогой мой Пьеро...

- Я с вами, господин лейтенант, - сказал Пьер. Они шли больше двух недель, и когда они подходили к Парижу, их уже никто не мог бы принять за военных. Робино был в потертом пиджаке, синей рубашке и бархатных штанах; на Пьере была рабочая куртка и слишком короткие полосатые брюки - они достали эту одежду у мэра небольшой деревни, морщинистого старика со свирепыми глазами, который накормил их, - они не ели до этого двое суток, - уложил их спать и утром пожелал им счастливой дороги, протянув руку с черными крестьянскими ногтями. Париж давно был занят германскими войсками, но никто не задержал ни Пьера, ни Робино.

В квартире, возле площади Данфэр-Рошера, все было чисто и аккуратно прибрано, как всегда, и кровать Пьера была постелена так, как если бы ничего не случилось и он никогда не отлучался из дома. Город был на три четверти пуст, делать было совершенно нечего, и Пьер от скуки стал читать книги, которые нашел в библиотеке отца, бесконечно длинную историю культуры и труды о каменном веке. Потом люди начали постепенно возвращаться в Париж, а когда

Пьер в десятый раз отправился посмотреть не открывается ли предприятие, в котором он работал помощником бухгалтера, он вдруг увидел отворенные ставни, вошел и встретил хозяина, который пожал ему руку и отрывисто сказал:

- Жизнь продолжается, Форэ, несмотря ни на что. Мы возобновляем нашу работу.

Сначала они были вдвоем - хозяин и он. Потом стали появляться другие, и к концу года почти все были на своих местах, кроме кассира, попавшего в плен, и двух других служащих, исчезнувших неизвестно как и куда. Пьер сразу же был назначен старшим бухгалтером. Стояла суровая зима, на службе топили плохо, не хватало угля, зато дома была необыкновенная теплынь. Мать Пьера, как оказалось, запаслась топливом надолго.

Она жила теперь все время в состоянии блаженного спокойствия, которого раньше не знала. Когда вся работа по дому была кончена, она садилась в кресло, против печки, брала вязание и целыми часами сидела неподвижно, засыпая иногда на несколько минут и просыпаясь, чтобы вновь вернуться в этот теплый мир наконец обретенного счастья. Пьер был аккуратен, как всегда, уходил утром, возвращался к обеду, шел опять на службу и приходил к ужину. Раз в неделю он

водил мать в кинематограф, остальные вечера он проводил дома, в долгих разговорах с ней. Он рассказывал ей о том, как идет война, что происходит в Ливии, приводил разнообразные цифры, на которые у него была профессиональная память, - тоннаж союзного флота, количество дивизий, добыча нефти, промышленный потенциал Америки. Он говорил ей обо всем этом, пока не замечал, что это ее не очень интересует. То, что имело для нее несомненный и понятный интерес, касалось вещей более непосредственных - ночных тревог, налетов авиации, того, что угрожало ее спокойствию. Пьер убедил ее в том, что район, в котором они живут, не подвергается никакой опасности бомбардировки, и тогда она перестала бояться и во время тревог даже не спускалась больше в подвал. Он понимал, что от нее нельзя было требовать постоянного интереса к чему-то, в сущности, для нее почти отвлеченному далеким боям в Ливийской пустыне или в глуши России. Это было ему понятно потому, что она была пожилой и усталой женщиной и тот запас чувств и та сила восприятия, которые ей были отпущены природой, были давно исчерпаны почти до конца; и еще оттого, что собственный интерес к этим событиям был как-то ослаблен тем, что война вообще была ему органически противна. Это не помешало и не могло бы помешать ему выполнять то, что называлось обычно долгом перед родиной. Но огромные разрушительные возможности войны, вызывавшие у одних страх, у других восторженное преклонение перед силой, производили на него неизменное впечатление тягостности и бессмысленности. Он знал, что Германия должна была быть побеждена, и считал, что достижение этой цели оправдывало все, что происходило. Но тягостного чувства, которое его охватывало, когда он думал о войне, это не уменьшало. Он чаще говорил с матерью о другом - о своей работе, о том, как он с ней справляется. Она в свою очередь рассказывала ему, где она покупает продукты, как все дорожает и как трудно все доставать. Она стала явно слабеть в последнее время, и у нее начались сердечные недомогания, которые проходили довольно скоро, но время от времени возобновлялись. Доктор, осмотревший ее, сказал Пьеру:

- Состояние вашей матери не внушает немедленных опасений. Она может прожить до девяноста лет. Не могу от вас скрыть, однако, что этот срок нельзя установить даже с самой приблизительной

степенью точности. Это может случиться завтра, или через месяц, или через тридцать лет.

Эта невозможность предвидеть ту или иную длительность жизни получила свое подтверждение в том, что мать Пьера умерла через три года после первого визита доктора. Пьера в тот день на службе вызвали по телефону, он подошел, взял трубку и услышал прерывистый голос соседки, мадам Росиньоль, знавшей его еще мальчиком:

- Пьеро, приходи сейчас же домой. Твоей матери плохо.

Он бросился бегом из конторы, спустился в метро и через десять минут был дома. Но он опоздал: она умерла в то время, когда поезд метро, в котором ехал Пьер, подошел к станции Данфэр-Рошери.

Пьер закрыл глаза. Это было два года тому назад. Первое время он все не мог привыкнуть к пустоте и тишине своей квартиры. Замолк навсегда аппарат радио; Пьер знал, что его звук немедленно вызовет с болезненной силой в его памяти воспоминание о матери, при жизни которой радио все время передавало под сурдинку лекции, легкую музыку, симфонии и концерты. Потом он стал привыкать к этому отсутствию звуков, и теперь, уже давно, возвращение домой значило для него погружение в ничем не прерываемую неподвижную тишину.

Он не знал, что с собой делать, рано ложился спать, по-прежнему мало читал. Ему казалось, что жизнь его проходит теперь совершенно зря. До тех пор пока была жива его мать, его назначение состояло в том, чтобы ограждать ее от неприятностей, защищать от трудностей, беспокойства, нужды; теперь, когда ее не было, все, что он делал, потеряло свой главный смысл. Но жизнь его не изменилась. Он по-прежнему уходил каждое утро на службу, по-прежнему получал жалованье, и еще некоторое время тому назад это казалось важным и необходимым. Теперь для него стало ясно, что это могло иметь свое оправдание только в том случае, если служило для достижения какой-то цели. И эта цель теперь была отнята у него, - потому что сердце его матери ослабело и потом остановилось в день ее смерти. И прекращение этого мерного вздрагивания значило не только то, что она умерла; это значило - об этом он думал чаще всего, - что из его собственной жизни был вынут тот смысл, который наполнял ее раньше.

У него было несколько коротких романов - была девушка из соседней конторы, Одэтт, была другая, с которой он познакомился в кинематографе, Сабина; но все это оставило в его памяти легкий осадок отвращения, и после того, как он расстался сначала с Одэтт, потом с Сабиной, обе они говорили о нем с враждебной насмешливостью. Он встретил некоторое время спустя еще одну девушку, которая ему особенно - понравилась - у нее было кругловатое спокойное лицо, покорные глаза, очень точные движения и грудной голос. Но когда он узнал, что ее зовут Мартиной, так же, как звали его мать, он пришел в необыкновенное замешательство, несвязно извинился и перестал с ней встречаться; она не могла понять причины его необъяснимого поведения.

Вечером, ложась в кровать, он засыпал мгновенно и не успевал ни о чем подумать. В противоположность большинству людей, он погружался в раздумье когда это с ним случалось - по утрам. Он вставал значительно раньше, чем это было необходимо, брился, принимал ванну, одевался, потом долго пил кофе, и все-таки времени до ухода на работу оставалось еще много. Он сидел тогда перед столом и думал, что если бы у него была возможность выбрать любую профессию и если бы он оказался достаточно способным, чтобы выполнить то человеческое назначение, которое ему казалось наиболее достойным, он стал бы врачом. И ему представлялась жизнь этого теоретического и предполагаемого врача, как его личная борьба против болезни и в конечном итоге против смерти. Победа над ней казалась ему единственным действительно важным долгом человека. Он воображал себе, - избегая клинических подробностей, останавливаясь на которых ему мешало отсутствие медицинских познаний, - ряд отдельных тяжелых случаев - туберкулез, рак, обреченные больные и благодаря усилиям врача - их медленное возвращение к жизни. Но все это оставалось в области чисто умозрительных представлений, потому что он знал, что для такого назначения у него не было никаких данных. В отличие от Альберта Форэ, твердо верившего в свою собственную судьбу и в свое воображаемое превосходство над другими, Пьер был убежден, что место, которое он занимает в жизни, точно соответствует его способностям и что на большее он претендовать не вправе. Перед уходом на службу он быстро и небрежно осматривал себя в зеркало:

невыразительные глаза, продолговатое, ничем не замечательное лицо, чуть-чуть отстающие уши. Воротничок его был всегда свежим; Пьер вообще отличался почти болезненной чистоплотностью и брезгливостью, - качества, которые в его жизни подвергались многократным испытаниям, особенно в казарме и на войне, но которых ничто не могло изменить. Он также был чувствителен к дурным запахам и поэтому с трудом переносил метро. И теперь, сидя в купе вагона, он был искренне рад тому, что путешествие все-таки подходит к концу и что еще через некоторое время он будет избавлен от общества своих соседей крестьян, которых сама жизнь лишала в противоположность Пьеру - какой бы то ни было чувствительности к каким бы то ни было запахам.

На перроне маленького вокзала Пьер увидел Франсуа, который ждал его в своем длинном дождевике и с огромным черным зонтиком, который он держал над головой. Проклиная погоду, Франсуа взял под руку Пьера, у которого при выходе с вокзала никто не спросил билета - вообще вокруг не было видно никого из железнодорожных служащих и только силуэт смазчика маячил далеко впереди, возле паровоза. Вместе с Франсуа Пьер вышел на привокзальную площадь, где их ждала крестьянская двухколесная телега, запряженная тяжелым вороним жеребцом.

- Ты мне, старик, можешь не верить, - сказал Франсуа, - но вот я сижу здесь уже пять дней, и за все это время, может быть, часа два не было дождя. А что в Париже?

- То же самое.

- Да, национальная катастрофа, в общем, - сказал Франсуа. - Ну, поехали.

Мокрый жеребец потащил телегу наверх по дороге, круто поднимавшейся влево от маленького городка. Копыта его звучно чмокали в глинистом грунте. С обеих сторон дороги были невысокие откосы; на откосах и дальше густо росли деревья, по листьям которых струился и лепетал дождь.

- Автомобильный транспорт у нас еще не налажен, - говорил Франсуа. Если бы я тебя не поставил об этом в известность, то ты рано или поздно должен бы был это тоже заметить.

В лесу крикнула птица. Пьер поднял голову и прислушался, но крик не повторился.

- Канализации в этой стране нет, - продолжал Франсуа. - Храбрые туземцы, конечно - не имеют представления о существовании ванн, - впрочем, что они с ними стали бы делать? Других удобств тоже нет. Вот, говорят, цивилизация, культура, двадцатое столетие, национальное самосознание и прочая дребедень. А живут здесь люди совершенно так же, как жили их предки в четырнадцатом столетии. Теперь мы поворачиваем.

Телега свернула вправо и въехала в лес. Дороги больше не было: было две глубоких колеи, которые шли медленными изгибами. Когда Пьер оглядывался назад или смотрел вперед, он видел только деревья, обступавшие его со всех сторон. Не было слышно ничего, кроме шума дождя по листьям, тяжелого всхлипывания лошадиных копыт и поскрипывания телеги. Воздух был влажен и свеж. Струи воды давно лились за воротник Пьера, он вздрагивал и передергивал плечами. Ему казалось, что он заехал бесконечно далеко. И хотя он знал, что в двух или трех километрах от того места, где сейчас проезжала их телега, был городок с вокзалом, через который проходили парижские поезда, он не мог отделаться от впечатления, что попал в глубокую лесную глушь, где годами стоит неподвижная тишина, в которой медленно растут эти огромные деревья и где десятилетия следуют за десятилетиями, не принося с собой никаких изменений.

- Ты о чем задумался? - спросил Франсуа.

- Так, ничего.

- Мы скоро доедем. Еще одиннадцать ухабов, и мы дома.

Через некоторое время телега выехала из лесу. Пьер внимательно смотрел на вид, который открывался перед ним: поле, налево опушка леса и там, среди деревьев несколько низких одноэтажных домов. Он повернул голову направо и увидел, что поле кончалось крутым обрывом, под которым далеко внизу текла мутная от дождя широкая река.

- Красиво, - сказал он.

Франсуа пожал плечами.

Телега наконец остановилась перед домом; оба они вошли туда, и Пьер был представлен всему семейству, которое состояло из жены Франсуа, ее бабушки и двоих детей, мальчика лет семи и девочки лет пяти. Все они были одеты довольно небрежно. На жене Франсуа было

просторное платье, и было заметно, что она ждала ребенка. У нее было довольно красивое лицо с правильными чертами, но с тем выражением явной душевной незначительности, в определении которого было невозможно ошибиться. Ее бабушка была дряхлой женщиной с морщинистым лицом и мертвыми, пустыми глазами. Она, казалось, не вполне отдавала себе отчет во всем, что ее окружало, и долго не могла понять, кто такой Пьер и почему он здесь очутился, и все спрашивала, не кузен ли это Жорж.

- Какой кузен Жорж? - спросил вполголоса Пьер.

- Я об этом, милый мой, знаю ровно столько же, сколько и ты, - сказал Франсуа. - Насколько мне известно, такого кузена вообще никогда не существовало.

Не обращай внимания.

Потом Франсуа показал Пьеру его комнату. Она находилась довольно далеко от дома, в маленьком флигеле, крытом черепицей, и точно соответствовала тому описанию, которое Франсуа дал Пьеру еще в Париже, - шершавые стены, кровать и хромя табуретка. В комнате пахло сыростью. Пьер поставил на пол свой чемодан, и они вернулись в дом, где ему дали горячий суп, кусок жареного мяса и чашку кофе, после чего он поблагодарил жену Франсуа и ушел к себе.

Войдя в свою комнату, он лег одетый на кровать и оставил дверь отворенной. В прохладном воздушном ее четырехугольнике струился дождь, на который он смотрел. Так он пролежал некоторое время и незаметно для себя задремал. Он проснулся оттого, что почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он открыл глаза; прямо перед дверью - были уже сумерки - стояла какая-то женщина, как ему показалось, в рубашке, совершенно промокшей и прилипшей к ее телу. Нечесанные волосы беспорядочно свисали с ее головы. Она стояла спиной к свету, и лица ее Пьер не мог рассмотреть. В ее необъяснимом появлении, во всем ее виде и странной ее неподвижности было что-то неподдельно жуткое, как ему показалось со сна.

- Что такое? Кто вы такая? - спросил он изменившимся голосом.

Она ничего не ответила и исчезла. Он поднялся с кровати и подошел к двери. В наступающей темноте он смутно различал ее фигуру: она медленно уходила под проливным дождем в сторону леса, - в рубашке, босая, с мокрыми волосами, падавшими ей на плечи. У

него сильно и тяжело билось сердце. Он постоял минуту на пороге, потом затворил дверь, и в комнате стало темно. Часто дыша от волнения, он разделся, лег в кровать и начал думать о ней, но тотчас же заснул крепким сном, похожим на оцепенение.

Он проснулся поздно и в течение нескольких секунд не мог понять, где он. Сквозь маленькое окно под крышей проходил свет, неясно блестя на мутном стекле. Он дотронулся до стены и тогда вспомнил, что он за сотни километров от Парижа, на юге, в гостях у Франсуа. За дверью стояла та же тишина, которая так поразила его накануне в лесу. Он надел рубашку и штаны, достав их из чемодана, и отворил дверь. Был жаркий августовский день, солнце было высокое и горячее. Только лужа воды перед порогом еще напоминала о вчерашнем дожде. Он захватил с собой туалетные принадлежности и пошел к невысокому каменному бассейну, над которым был водопроводный кран и который еще вчера показал ему Франсуа.

Когда, умывшись и приведя себя в порядок, он вошел в дом, где жил Франсуа, было уже начало одиннадцатого. Франсуа ушел купаться, дети где-то неподалеку играли, и в доме оставались только бабушка, молча вязавшая какую-то фуфайку, и Ренэ, жена Франсуа. Пьер извинился за поздний приход.

- Ничего, ничего, с дороги это понятно, - сказала Ренэ. - Кофе горячий, я вам сейчас налью.

Бабушка смотрела на Пьера с тем же выражением, что вчера, такими невыразительными и мертвыми глазами, что ему стало немного не по себе, и, выпив кофе, он тотчас же ушел. Он направился сначала к реке, но потом подумал и свернул в лес. Там было еще сыро и в некоторых местах от земли поднимался легкий пар. Пьер смотрел вверх. Огромные деревья, каких он никогда до сих пор не видел, громоздились перед ним, и над его головой тянулся бесконечный переплет зеленых листьев. Где-то, казалось совсем близко, стучал дятел, - Пьер долго искал его глазами и не нашел. Какие-то синие маленькие птицы с желтоватым брюшком несколько раз пролетали мимо него. Он прошел некоторое расстояние и остановился перед громадным многоствольным кедром, вершина которого терялась в листве других деревьев. Пахло сырой древесиной, влажной землей и еще чем-то особенным и острым, чего он не мог определить, потому что раньше никогда не знал этого своеобразного запаха. Сделав

несколько шагов, он понял, что этот запах шел от большого муравейника, на который падал солнечный свет. Бесчисленные красные муравьи сновали по его ноздреватой серой пирамиде. Пьер простоял перед ней несколько минут и пошел дальше, мягко ступая по сыроватым коричневым листьям и иглам, плотно устилавшим землю. Необыкновенное, никогда до тех пор не испытанное им чувство охватило его. Ему вдруг показалось, что он живет бесконечно давно и знает очень много вещей, которые он неизвестно почему забыл почти безвозвратно, но смутное воспоминание о том, что они существовали, все-таки в нем было, он только не отдавал себе в этом отчета. Было не только воспоминание о забытом, было еще сознание того, что есть какой-то другой мир, чем-то, быть может, похожий - по своей тишине и вечности, по величественному его спокойствию - на этот лес, на эти миллионы и миллионы листьев, на это соединение света, земли и деревьев.

Он продолжал идти, углубляясь в лес. На далеком дереве куковала незримая кукушка. Ему казалось, что этот звук доходит до него из сна, не нарушая этой неправдоподобной густой тишины, так не похожей на печальное безмолвие его парижской квартиры, - этой тишины, в которой не было ни одного движения, кроме его медленных шагов. День был безветренный, листья не шевелились. Он вспомнил, что видел уже такие леса в те времена, когда был солдатом; но он был слишком занят тогда, и у него не было времени и возможности ощутить то, что он чувствовал теперь. Тогда была война, вопрос о том, что будет завтра, и постоянная мысль о матери, которая ждала его возвращения. Теперь все исчезло, хотя тогда казалось, что это никогда не кончится-то, что можно было сказать в нескольких простых словах: ожидание и "быть может" - быть может, рана, быть может, смерть, быть может, плен, быть может, возвращение. Теперь все, что было тогда, перестало существовать:

война была кончена, квартира была пуста, и только на недалеком кладбище, в парижском пригороде, прибавилась еще одна могила: "Здесь покоится в мире Мартина Форэ..." В просветах листьев, в необычайной и прозрачной тишине, стояла синева далекого неба. Пьер шагал мимо шершавых стволов, между которыми рос крепкий твердолиственный кустарник. Изредка попадались неровные широкие пни, и в этих местах было чуть-чуть просторнее; но вокруг каждого

пня буйно росли невысокие деревья. Если бы его спросили, именно его, Пьера Форэ, для чего он, собственно, живет на свете, что он мог бы ответить?

Он вдруг почувствовал непонятную усталость и, повернув обратно, пошел к дому. Он не мог бы сказать, о чем он думал, - о чем-то, чего не могло бы быть, если бы не незначительные, в сущности, впечатления сегодняшнего утра и тот особенный воздух, которым он дышал и в котором был, казалось, какой-то новый смысл, которого он до сих пор не знал. В этот день, именно здесь, на юге, в лесу, что-то вдруг сдвинулось в его жизни. Но он не знал, было ли это к лучшему или к худшему.

Он опять пришел поздно. Все уже кончили есть, и Франсуа пил кофе. Увидев Пьера он спросил:

- Куда ты пропал?

- Я был в лесу, - коротко сказал Пьер. Ренэ принесла ему еду. Он снова извинился за опоздание, и она опять сказала ему с усталой улыбкой, что это неважно. Затем Пьер и Франсуа вышли из дому и пошли в сад. Сада, собственно, не было - несколько деревьев, густые заросли высокой крапивы и терновник. В середине этого пространства был маленький пруд, огороженный низким цементным барьером, так что сначала Пьер принял его за искусственный бассейн. Но Франсуа объяснил ему, что это был настоящий пруд, вода которого не загнивала, потому что внизу, со дна, бил холодный, как лед, ключ. Пьер сел на барьер и посмотрел в воду; в ней неподвижно стояли длинные стебли травы, между которыми, как в аквариуме, мелькали время от времени быстрые, небольшие рыбки.

- А где же сом? - сказал Франсуа. - Вот он, Пьеро, посмотри. Не здесь, ближе к середине. Видишь? Он всегда у поверхности.

Пьер посмотрел туда, куда указывал Франсуа, и увидел толстую усатую рыбу, которая медленно плыла действительно у самой поверхности воды, все время открывая и закрывая рот.

- По-моему, у него одышка, как у объевшегося человека, - сказал Франсуа. - Он жрет такое количество головастика, что я удивляюсь, как он еще не околел от несварения.

За деревьями, как показалось Пьеру, послышался легкий шум. Пьер поднял голову, но никого не увидел, и шум не возобновился. И тогда он вспомнил о своем странном пробуждении накануне. Он

хотел сказать это Франсуа, но не знал, как это сделать. Он молчал несколько минут, глядя на воду, освещенную солнцем. Сом доплыл до конца пруда, сделал извилистое движение хвостом и поплыл обратно.

- Скажи, пожалуйста, Франсуа... - начал Пьер.

- Что?

- Я не знаю, как это тебе объяснить. Это что-то странное. Видишь ли...

И он рассказал, как он лег на кровать и заснул с отворенной дверью и как он проснулся. Франсуа нахмурился. Потом он сделал болезненную гримасу и сказал:

- Ах, не говори мне об этом. Это самая тягостная вещь, какая только может быть.

- Кто эта женщина? Франсуа вздохнул.

- Блаженная или сумасшедшая, может быть, и то и другое. Она живет у нас вот уже несколько лет. Мы ее зовем Мари. Как ее настоящее имя, никто не знает.

- Каким образом она сюда попала?

- Это длинная история - и чрезвычайно печальная, - сказал Франсуа. Если у тебя есть терпение слушать, я тебе ее расскажу.

- Я слушаю, - сказал Пьер. Он сидел на цементном барьере и смотрел туда, где кончался пруд и где отражались в его неподвижной поверхности цепкие ветви терновника. Франсуа сказал, что он подобрал эту женщину летом сорокового года, когда миллионы людей двигались по дорогам Франции, уходя от германского наступления. Поздними сумерками Франсуа возвращался из города на повозке, запряженной тем же вороным жеребцом, который привез Пьера. Он остановил лошадь, потому что увидел чье-то тело, лежавшее посередине дороги. Это была Мари. Она была без сознания. На лбу ее была запекшаяся кровь. Он уложил ее на телегу - и привез домой, где ее привели в чувство. На ней было черное платье и стоптанные туфли. Когда ее спрашивали, кто она такая и как ее зовут, она ничего не отвечала и смотрела на всех испуганными, дикими глазами. Ела она с жадностью. Ее уложили спать, надеясь, что к утру она придет в себя. Но наутро ее не оказалось в комнате, и она появилась опять к вечеру, в таком же состоянии, как накануне. Такой она и осталась, вероятно навсегда, как думал Франсуа. У нее оказались другие особенности,

гораздо более неприятные, о которых Франсуа предпочитал не упоминать.

- Говори уж, - сказал Пьер.

И тогда Франсуа объяснил, что Мари никогда не моется, не причесывается и что некоторые функции ее организма происходят произвольно. Кроме того, часть пищи, которую ей дают, она прячет под свой тюфяк и это, конечно, там гниет.

- Тебе не приходила в голову мысль отправить ее в психиатрическую лечебницу?

- Я часто думал об этом, - сказал Франсуа, - и, вероятно, этим кончится. Но я тебе должен сказать, что, во-первых, это не так просто. Ближайшая такая больница отсюда за двести километров. Кто ее туда доставит? Затем два раза за эти годы я видел у нее - как мне показалось - ясные глаза, ты понимаешь? Я не врач, я за ней не слежу. Но я не могу забыть этого человеческого выражения, и мне ее жаль. Поэтому я все жду - не знаю чего - и не отправляю ее в сумасшедший дом.

- Там ее могли бы, быть может, лечить.

- Сильно в этом сомневаюсь, я плохо верю в их лечение. - Из рассказа Франсуа Пьер узнал, что Мари живет - насколько этот человеческий плагол может быть к ней применим, - сказал Франсуа, - в маленькой сторожке, на опушке леса, "куда страшно войти". Туда он приносит ей пищу. Она иногда появляется в доме, и дети ее боятся, хотя она совершенно безобидна.

- Покажи мне, где она живет, - сказал Пьер. Франсуа пожал плечами и повел его к сторожке. Когда он отворил дверь, у Пьера сразу зашипало в горле от невыносимого смрада. Он увидел в углу низкую кровать, скомканное серое одеяло на ней и больше ничего.

- Отчего такой страшный запах? - спросил он.

- От всего, - сказал Франсуа. - Сделай мне милость, не настаивай на подробностях.

- Какой ужас! - сказал Пьер.

- Она живет как несчастное больное животное, - сказал Франсуа. - Она, я думаю, давно потеряла представление о времени и обо всем остальном. Я не знаю, и никто, вероятно, никогда не узнает, как она жила раньше, кто она такая, откуда она. Она погрузилась, - отчего, когда - неизвестно, - в какую-то животную тьму, это все, что я о ней

знаю. А может быть, она всегда была блаженной и никогда не знала того мира более или менее рациональных понятий, за пределами которого начинается то, что мы называем сумасшествием.

- Ты никогда не пытался с ней разговаривать? Побудить ее к тому, чтобы она как-то на это реагировала?

- Много раз, - сказал Франсуа. - Но это потеря времени. Она явно не понимает даже вопросительных интонаций.

Они разговаривали стоя, в нескольких шагах от сторожки. Вдруг Франсуа повернул голову и шепотом сказал:

- Вот она, смотри.

И Пьер увидел, как на опушку леса вышла та женщина, появление которой так испугало его вчера. Он успел заметить ее серые волосы, огромные светлые глаза и босые ноги. Тяжеловатые черты ее лица можно было бы назвать правильными, но они были искажены животным выражением страха. Увидев Пьера и Франсуа, она метнулась в сторону и скрылась в лесу.

- И я иногда думаю, - сказал Франсуа, когда они прошли несколько шагов в молчании, - что ничего не может быть печальнее этого. Лучше проказа, лучше смерть. И я прихожу в отчаяние: есть ли человеческая возможность ее спасти? И в конце концов - стоит ли это делать?

Пьер смотрел прямо перед собой. В прозрачном воздухе неподвижно стояли зеленые, огромные деревья. Далеко внизу блестела на солнце река. Пьер сморщил нос и сказал:

- Мне кажется, что, может быть, стоит. Этот разговор больше не возобновлялся. Но, возвращаясь к себе, Пьер долго думал о судьбе Мари. Откуда она появилась? И какая жизнь предшествовала этому летнему вечеру страшного сорокового года, когда Франсуа подобрал ее на дороге? Кем она могла быть, где она выросла, была ли у нее семья, сколько ей было лет? И неужели действительно нет никакой возможности вернуть ей то, что она потеряла? Он был всецело погружен в эти мысли и когда он вспомнил о своей парижской квартире и о своей службе, это показалось ему необыкновенно далеким. И стало еще очевиднее, чем когда бы то ни было, что если можно было найти какое-то оправдание жизни, то самое, о котором он думал в лесу, - то это оправдание, конечно, не могло быть найдено в том существовании, которое он вел все эти годы после смерти матери.

В течение нескольких следующих дней, - все время была жаркая солнечная погода, - Пьер сопровождал Франсуа на реку, где они купались и ловили рыбу, и в окрестные леса, по которым они бродили вдвоем. Чаще всего они разговаривали о незначительных вещах - как живут крестьяне, которых Франсуа обвинял во всех смертных грехах, и это была его любимая тема, как сажают табак, как глупа администрация. Однажды после долгой прогулки они остановились в лесу отдохнуть. Пьер сел прямо на землю, обхватив руками колени, Франсуа лег рядом с ним и закурил трубку. Потом он мельком взглянул на Пьера и спросил:

- В чем, по-твоему, заключается счастье?

Пьер посмотрел на него с удивлением. Издалека донесся крик кукушки. Вместо ответа он сказал:

- У тебя сегодня философское настроение? Почему тебе именно это пришло в голову?

- Потому что я иногда над такими вещами задумываюсь, - не в Париже, конечно, там нет времени для этого.

- И ты сам нашел ответ?

Франсуа отрицательно покачал головой.

- Иногда мне казалось, что нашел. Но это каждый раз было ошибкой.

- Со стороны у тебя как будто все в порядке, - сказал Пьер, - жена, дети, работа.

- Да-да, - с небрежной интонацией ответил Франсуа. - Но вот чего-то не хватает. Счастье, это должно быть что-то такое, что не изнашивается.

- Это может быть какая-нибудь отвлеченная теория, - сказал Пьер.

- Не думаю.

- Почему?

- Мне кажется, что счастье - это прежде всего ощущение или во всяком случае что-то очень личное и не передаваемое другим. Вот укажи мне человека, на месте которого ты мог бы чувствовать себя счастливым.

- Я никогда об этом не думал, - сказал Пьер. - подожди, надо поискать. Человек, на месте которого я хотел бы быть и тогда бы я

чувствовал себя счастливым? Подожди, Франсуа, я сейчас скажу. Ты хочешь знать имя? Амбруаз Парэ, Пастер.

- Если бы кто-нибудь нас подслушал, он бы подумал, что говорят гимназисты. И плохо на этой земле распределены должности, - сказал Франсуа, поднимаясь с земли. В голосе его была насмешливая и сочувственная интонация. - Потому что, милый друг, то, в чем нельзя, мне кажется, ошибиться, это что тебе меньше всего подходит место бухгалтера.

Проходили дни, похожие один на другой, как деревья в лесу. Все так же жарко грело солнце, стучали дятлы, по вечерам кричали лягушки. С наступлением ночи все погружалось в мягкую и теплую тьму, и когда Пьер ложился в свою кровать и смотрел через открытую дверь, он не видел ничего, кроме мрака. Он думал, перед тем как заснуть, вдыхая этот особенный воздух, в котором стоял запах нагретой за день земли, травы и деревьев, - он думал, что парижская жизнь казалась ему неуютной только оттого, что он никогда не знал о возможности такого существования, какое он вел здесь. Днем он часами наблюдал за передвижениями муравьев; он видел, как незримый крот выбрасывал землю наружу из своих сложных туннелей; маленькая ласка с красными глазами однажды стала перед ним в лесу на задние лапки и с секунду внимательно смотрела на него, а потом беззвучно и мгновенно исчезла; какое-то небольшое животное фыркнуло недалеко от него, он его искал глазами и не мог найти, и Франсуа потом объяснил ему, что это был барсук. Пьер бывал в доме, где жил Франсуа, только в часы еды. Бабушка совершенно привыкла к нему, как она привыкла бы к новому креслу или стулу, и больше не спрашивала никого, не кузен ли это Жорж. Может быть, думал Пьер, она отказалась от этого предположения, может быть, она забыла о нем и теперь этот неизвестный Жорж был навсегда похоронен в ее слабеющей памяти. Пьер заметил с некоторого времени, что даже Мари перестала убегать, как только она его видела. И вот наступил день, - это было за неделю до конца его отпуска, - когда он проходил недалеко от ее сторожки и увидел, что она сидела на земле и мяла в руках кусок глины, который нашла неизвестно где. Он подошел ближе; она осталась сидеть и не двинулась, но не подняла на него глаз. Он остановился перед ней и сказал:

- Здравствуйте, Мари.

Она не шевельнулась. Он посмотрел на ее низко наклоненную голову - и вдруг вспомнил, что так же была наклонена голова его матери, когда он однажды в сумерках вернулся домой; он с новой силой почувствовал, что она умерла, и ощутил тяжелую печаль. Мари сидела перед ним, он видел ее серые волосы, загорелые босые ноги с огрубевшими ступнями и матово-темную кожу ее лица.

- Я рад, что вы меня больше не боитесь, - сказал он, не повышая голоса. - Мне бы хотелось вам чем-нибудь помочь, если это возможно.

Она подняла на него свои светлые, пустые глаза, и он понял, что она слышала звук его голоса.

- Я знаю, - сказал он, разговаривая так, как если бы он обращался к совершенно нормальному существу, - что смысл моих слов до вас не может дойти, но это не так важно.

Она смотрела прямо на него, и когда он встретил ее взгляд, он невольно ощутил холодок в спине. В ее глазах не было никакого выражения. Он даже подумал, что это было похоже на раскрашенный анатомический рисунок человеческих глаз-кристаллик, радужная оболочка, веки, ресницы. Но это был совершенно пустой и мертвый взгляд.

- До свидания, Мари, - сказал он, проглотив от волнения слюну. И только тогда, когда он углубился в лес, он несколько пришел в себя и начал опять напряженно думать о том, что все эти дни не давало ему покоя. Это были бесплодные попытки представить себе, кто была Мари и что с ней могло случиться. Теперь, после этого разговора, ему пришла в голову новая мысль. В тишине леса он разговаривал сам с собой вслух, как он делал это когда-то давно, в школьные годы, обдумывая решение алгебраической задачи.

- Какие страшные глаза! - сказал он, продолжая идти. - И вот представь себе, что этому мертвому взгляду можно вернуть человеческое выражение и сделать так, чтобы оно навсегда в нем осталось. Да, это стоит каких угодно усилий.

Он сделал еще несколько шагов, потом остановился и быстро пошел назад.

Франсуа уехал в город, за покупками, и, прождав его час, Пьер пошел ему навстречу. Уже дойдя почти до конца дороги, которая вела к городу, он увидел наконец повозку, запряженную вороним

жеребцом. Франсуа правил, сидя на узкой доске, положенной поперек повозки, и куря трубку.

- Ты что, в город? - спросил он.

- Нет, - сказал Пьер, - я шел тебе навстречу. Мне надо с тобой очень серьезно поговорить.

- Садись рядом, - сказал Франсуа. - Советую тебе на это время забыть о существовании кресел, диванов и вообще о достижениях цивилизации в области мягкой мебели.

Когда Пьер влез в телегу, Франсуа прибавил:

- И о рессорах тоже. Так в чем же дело? Стоял неподвижный зной, скрипела телега, покачивалась лошадиная спина, мерно двигались крутые бока жеребца. На лице Пьера было далекое и восторженное выражение.

- Я хотел с тобой поговорить о Мари, - сказал он. - Я избавлю тебя от всех забот о ней.

- Каким образом?

- Я возьму ее с собой в Париж.

Это было настолько неожиданно, что Франсуа натянул вожжи и повозка остановилась. Потом он внимательно посмотрел на Пьера.

- Ты что, с ума сошел?

- Отпусти вожжи, - сказал Пьер, беря его за руку. - Нет, я с ума не сошел.

- Что ты будешь с ней делать?

- Я постараюсь ей дать душевный покой, и, может быть, она придет в себя.

- Но где она будет жить?

- У меня, со мной. Франсуа сказал:

- Я вижу, ты совершенно не отдаешь себе отчета в том, что собираешься делать. Ты представляешь себе, что такое ее соседство? Ты знаешь, что тебе пришлось бы следить за ней как за маленьким ребенком? Ты представляешь себе, во что превратилась бы твоя квартира? И все это, в сущности, почти без всякой надежды на выздоровление.

- В этом смысле риска нет никакого.

- Хорошо, допустим, что я согласен не считать тебя сумасшедшим, сказал Франсуа. - Но как бы ты довез ее до Парижа? Надо ли тебе объяснять, что в поезде ее везти нельзя?

- Я прекрасно отдаю себе в этом отчет, - сказал Пьер. - Я отвезу ее на автомобиле.

- На каком автомобиле? И как ты ее повезешь? Связанной?

Но Пьеру ничто не казалось невозможным. Он вспомнил, что мысль об автомобиле пришла ему в голову на втором повороте дороги, когда он спускался по ней вниз, навстречу Франсуа, - на том повороте, где с одной стороны был небольшой овраг, а с другой поднимался крутой склон леса, густо и дико заросший терновником. Нет, он не думал, что Мари придется связывать, она, наверное, не окажет никакого сопротивления.

- Почему ты так думаешь?

- Ты знаешь, - сказал Пьер с доверчивой интонацией в голосе, - я заметил, что с некоторого времени она меня не боится. И когда я разговариваю с ней, она не уходит, а сидит на земле и слушает. Я не строю себе никаких иллюзий и убежден, что она, конечно, не понимает моих слов. Но она их слушает и смотрит на меня.

- "Понимать", "слушать" - все это к ней не применимо, я думаю, - сказал Франсуа. - Она просто привыкла к звуку твоего голоса, и он ее больше не пугает.

Они ехали некоторое время молча.

- То, что ты хочешь сделать, это, конечно, сумасшествие, - сказал Франсуа. - Я тебе советую об этом забыть. С твоей стороны это было бы совершенно ненужное и бессмысленное самопожертвование. Ты просто не понимаешь, насколько это глупо.

Пьер посмотрел на него невидящими глазами.

- Да, конечно, это самая чудовищная глупость, с которой мне пришлось встретиться за всю мою жизнь, - сказал Франсуа.

Пьер опять ничего не ответил. Было жарко. Телега поднималась в гору мимо медленно смещавшихся деревьев. Франсуа повернулся на сиденье, посмотрел в сторону и добавил:

- Но если ты это действительно решил и тебя нельзя отговорить, то я тебе помогу.

Пьер вернулся в свою маленькую комнату в повышенном и почти восторженном состоянии, которое не покидало его с той минуты, когда он подумал о возможности увезти Мари в Париж. Франсуа был отчасти прав: Пьер меньше всего думал о том, что именно он будет делать и как надо будет смотреть за Мари, это казалось ему

второстепенным. То, что занимало его мысли, было неизмеримо важнее. Он не сумел бы это объяснить в нескольких словах, но если бы он мог это сделать, он бы сказал, что теперь все в мире приобрело для него новое значение. Он был избавлен наконец от того тягостного чувства, которое преследовало его все эти годы со дня смерти его матери: чувства бессмысленности окружающего, его собственной жизни, его службы и всего, что он делал. Это чувство особенно усилилось в нем после его приезда сюда, когда он впервые вошел в лес и все не мог оттуда уйти, погруженный в созерцание этого безмолвного и неподвижно-живого могущества стволов, ветвей и листьев. Когда он смотрел на них, ему почему-то казалось особенно очевидным, что его собственное существование ничтожно и бесполезно, - так, точно вид этого леса был непонятным и непроверяемым одновременно доказательством правильности именно этого сознания ничтожества и бесполезности. Теперь это изменилось - и там, где до сих пор была тягостная пустота, возникали спутанные волосы Мари, огрубевшие босые ее ноги, ее бледное лицо, лишенное выражения, и этот мертвый взгляд ее светлых и пустых глаз.

Он увидел ее на следующее утро в той же позе, в какой он видел ее каждый день, - она сидела на земле и по-прежнему с непонятным постоянством мяла в руках все тот же кусок глины, который давно потемнел от прикосновения ее грязных пальцев.

- Здравствуйте, Мари, - сказал, понижая голос, как он делал всякий раз, когда обращался к ней. И хотя он знал, что она не понимает его слов, эти напрасные его монологи не казались ему потерей времени - вопреки здравому смыслу. И он продолжал говорить так, точно перед ним была собеседница, понимавшая не только смысл его фраз, но и каждую интонацию его голоса.

- Я хотел вам сказать, - продолжал он, глядя на нее, - она не поднимала головы, - что это последние дни вашего пребывания здесь. Мы скоро уедем в Париж, и ваша жизнь совершенно изменится.

Она не шевельнулась, - только ее пальцы медленно мяли глину. Пьер подумал о том, каким чудовищно далеким пространством она отделена от него и от того мира, в котором он жил, - и на одну короткую часть секунды ему показалось, что всякая надежда на спасение Мари - только химера и бред. Но он тотчас же забыл об этом.

- Вы будете жить в Париже, со мной, - сказал он, - и вам будет гораздо лучше, чем тут. Я надеюсь, что рано или поздно вы выздоровеете, и тогда я напомню вам то, что я говорил вам здесь за несколько дней до нашего отъезда.

Она ни разу не подняла головы. Пьер чувствовал необыкновенное волнение.

- Я еще должен о многом подумать, - сказал он. - Мы уезжаем через четыре дня.

На следующий день Франсуа свел его с крестьянином, у которого был небольшой грузовик с брезентовой крышей и наглухо закрывавшейся сзади деревянной дверцей. Крестьянин согласился отвезти в Париж Пьера и Мари за сравнительно недорогой ценой. Он только попросил авансом у Пьера пятьсот франков на расходы: он был недоверчив, как все крестьяне. Пьер их ему сейчас же заплатил.

Пьер никогда потом не мог забыть того августовского рассвета, когда грузовик подъехал к дому Франсуа. Пьер был давно одет и ждал уже с полчаса. Небритый и взъерошенный Франсуа стоял рядом с ним и курил трубку. Воздух был неподвижен, на траве блестела роса. Сердце у Пьера билось тяжело и неровно.

- Ты знаешь, - сказал он, - это все-таки, конечно, огромная ответственность, я прекрасно это понимаю.

- Искренно желаю тебе успеха, - сказал Франсуа. - Ужасно хочется спать. А для среднего крестьянина встать в этот час ничего не значит, они все чуть свет поднимаются. Там, в Париже, ты держи меня в курсе всего, что будет происходить. Ох, милый мой, страшно подумать. Ну, идем за ней.

Они остановились на пороге сторожки, в которой она жила и дверь которой была отворена. Мари спала лицом вниз. Тот же невыносимый запах ударил в нос и глаза Пьеру. Он вынул платок и приложил его к лицу.

- Нечего делать, - сказал Франсуа, - входи. Пьер подошел к кровати, на которой лежала Мари, и тронул ее за плечо. Она открыла глаза.

- Мари, мы уезжаем, - сказал Пьер. - Я сейчас посажу вас в грузовик, и мы поедем в Париж. Вставайте.

Он приподнял ее за плечи. Франсуа с удивлением смотрел на него.

- Она не понимает, что происходит, - сказал он вполголоса. - Она безразлична ко всему на свете, ты видишь.

- Тем лучше, тем лучше, - задыхаясь, сказал Пьер.

У него было отдаленное сознание, в котором он едва отдавал себе отчет, что он совершает нечто страшное, какое-то насилие над ней, и он подумал, что так, вероятно, должен себя чувствовать убийца. Она была совершенно беззащитна; он чувствовал это по тому, как мягко поддавались мускулы ее тела под его руками. Он вывел ее из сторожки; она подняла руку к глазам и тотчас же ее опять опустила. Крестьянин стоял у своего грузовика, смотрел на то, что происходило, и лицо его не выражало решительно ничего. Пьер и Франсуа подняли Мари не без некоторого усилия - у нее было литое, тяжелое тело - и внесли ее в грузовик, на полу которого лежал соломенный матрац.

- Теперь постарайтесь заснуть, Мари, - сказал Пьер. - Я разбужу вас, чтобы дать вам поесть.

Она лежала в грузовике так же неподвижно, как несколько минут тому назад лежала у себя в сторожке. Крестьянин захлопнул дверцу и сел за руль.

- Ну, счастливой дороги, - сказал Франсуа, пожимая руку Пьеру, и Пьер в первый раз заметил, что Франсуа был взволнован. - Помни, что ты обещал держать меня в курсе всего.

Грузовик тронулся. Далекая река внизу уже была освещена ранним солнцем, и в деревьях медленно таял утренний туман. Пьера время от времени начинала трести мелкая дрожь. Он молчал и смотрел сквозь мутное стекло на дорогу.

Они приехали в Париж поздним вечером после двухдневного путешествия. В дороге они останавливались несколько раз. Крестьянин плохо рассчитал расстояние, и они вынуждены были ночевать в пути, где-то на опушке леса. Потом был второй, самый утомительный день. У Пьера ломило поясницу, и ему все время хотелось спать. Наконец они въехали в Париж, и через некоторое время грузовик остановился перед домом, где жил Пьер.

Мари не спала. Пьер приподнял ее, снял с грузовика и, держа ее под руку, поднялся с ней на третий этаж в свою квартиру. Отперев дверь, он ввел ее в столовую, зажег электричество, оставил ее в ярко освещенной комнате и спустился вниз, чтобы расплатиться с крестьянином. Он вернулся через несколько минут и, едва переступив

порог, с упавшим сердцем понял, что случилось. Он вспомнил слова Франсуа о том, что некоторые функции организма происходили у Мари непроизвольно. Когда он вошел, она сидела на полу. На секунду его охватило отчаяние. Но потом он пошел на кухню, принес тряпку и лоханку с водой и привел все в порядок. Затем он вошел в ванную комнату и открыл краны холодной и горячей воды в ванне. Мари по-прежнему сидела на полу, глядя вокруг себя все тем же мертвым взглядом светлых глаз. Он постелил ее кровать - ту самую, на которой раньше спала его мать. Потом, когда ванна была наполнена водой, он взял Мари под мышки, - она по-прежнему не оказывала ему никакого сопротивления, - и привел ее туда. Он расстегнул пуговицы на тех черных лохмотьях, которые ей заменяли платье, и снял их с нее. У нее было тугое и крепкое тело молодой женщины; на темной от грязи коже было несколько синяков, а на правой стороне живота белел продолговатый шрам.

- Теперь, Мари, надо принять ванну, - сказал он таким тоном, точно обращался к ребенку. - Ах, Боже мой, ведь вам еще нужно вымыть голову!

Все это заняло больше часу. В конце концов, единственное, чего ему не удалось отмыть, это были ступни Мари, покрытые твердой, мозолистой кожей. Моя ее, он следил за выражением лица Мари, стараясь понять, как она на это реагирует. Но и глаза, и лицо Мари оставались неподвижны, будто все это происходило не с ней. Пьер покачал головой.

Потом он вытер ее досуха, надел на нее купальный халат, отвел ее в комнату и уложил в постель. Она тотчас же закрыла глаза. Он постоял минуту, пристально глядя на нее. Ее лицо побелело, черты его обрисовались как будто отчетливее - и вдруг ему показалось, что вот сейчас, сию секунду, она откроет глаза и он встретит ее удивленный человеческий взгляд. Он стоял, думая об этом, и только потом понял, что уже в течение некоторого времени он слышит ее ровное дыхание.

Пьер плохо и мало спал в эту ночь, несмотря на всю свою усталость. Два или три раза он вставал, надевал халат и туфли и входил в ее комнату. И каждый раз убеждался, что она спит без движения глубоким сном. Ранним утром он встал, оделся, выпил чашку крепкого кофе и опять пошел к Мари. Через створки ставень проходил легкий свет. Мари продолжала неподвижно лежать в

кровати, и Пьер не знал, сон ли это или какое-то оцепенение, вызванное резкой переменой в ее жизни, переменой, которая, конечно, не могла отразиться в ее сознании, но на которую организм реагировал именно так. Наконец, когда он в десятый раз пришел посмотреть на Мари, она открыла глаза. Он распахнул ставни и сказал:

- Здравствуйте, Мари.

Она посмотрела на него, и ему показалось, что в ее глазах появился какой-то отдаленный проблеск, нечто похожее на удивление. Затем она медленно повернула голову несколько раз, и нельзя было понять, что это значит: отрицание? сомнение? упрек? Пьер думал, что это, конечно, не могло быть ни тем, ни другим, ни третьим.

С этого дня началось его новое существование. С необыкновенным терпением, которого не могли поколебать неизменные неудачи, он старался научить Мари, как надо себя вести в квартире. Он по-прежнему мыл ее каждый день в ванне, расчесывал ей волосы и следил за каждым ее движением. Уходя, он всегда запирал ее на ключ в комнате, боясь, чтобы она не натворила какой-нибудь беды. Он знал еще со слов Франсуа, что у нее была привычка прятать остатки пищи под матрац, и поэтому каждый день осматривал ее кровать и всегда находил там то куски мяса, то хлеб, то макароны. Он выносил это на кухню - и когда она следила за ним своими мертвыми глазами, он говорил ей:

- Это ничего. Мари, это не пропадет, мы будем просто держать это в другом месте.

Иногда ему удавалось унести это так, чтобы она не видела. Наконец наступил день, когда она забыла спрятать остатки пищи. Он бурно обрадовался, обнаружив это, но радость его была преждевременной: на следующий день несколько кусков мяса опять лежали под ее матрацем.

Но самым мучительным было то, о чем ему с болезненной гримасой говорил Франсуа. Пьер, с наивностью, в которой он прекрасно отдавал себе отчет, многократно объяснял Мари, как следует поступить, но все его объяснения оказывались совершенно бесполезны. Проходили недели за неделями, кончился сентябрь, начались октябрьские холода. Мари давно была одета, как нормальная женщина, - Пьер тотчас же после приезда в Париж снял с нее мерку и

купил ей в магазине готового платья то, что считал необходимым. Она постепенно привыкла к чулкам и обуви, и кожа ее ступней стала мягче. Но в остальном ему не удалось добиться никаких изменений. Единственные минуты, когда ее поведение напоминало поведение нормального существа, были те минуты, которые Пьер проводил с ней за столом: она ела, пользуясь ножом и вилкой, но лицо ее при этом принимало как бы еще более мертвое выражение, и создавалось впечатление, что она делает ряд автоматических движений, не понимая их значения.

Она была безразлична, казалось, решительно ко всему - к ванне, к еде, к одеванию и раздеванию. Казалось, что понятие или возможность какой-то привычки были для нее исключены. Когда стало холодно, Пьер аккуратно, каждый день, топил две большие печки квартиры. Вначале он боялся, чтобы Мари как-нибудь не обожглась или не наделала пожар. Но она не дотрагивалась до печей. Только иногда, когда на дворе был мороз, он, возвращаясь домой, неизменно находил ее в одной и той же позе: она сидела на полу, у печки, не двигаясь. На кухню она не ходила никогда.

Был уже конец ноября, когда Франсуа однажды позвонил Пьеру по телефону на службу и спросил, как идут дела. Пьеру было очень неприятно, что за все это время ему не удалось добиться никакого результата. Поэтому он уклончиво ответил, что есть некоторые улучшения, и сказал, что как-нибудь он позвонит Франсуа, они встретятся и он ему все расскажет. Он был рад, что Франсуа не настаивал и сказал, что будет ждать его звонка. И как раз на следующий день после этого Пьеру показалось, - это было вечером, после того, как он вернулся со службы, он был на кухне и готовил себе и Мари ужин, - что он слышит незнакомый голос в квартире. Он вышел из кухни и прислушался. Станный, металлический голос произносил какие-то невнятные звуки. Он быстро прошел в столовую, где на полу, возле печки, сидела в своей обычной позе Мари.

- Мари, это вы разговаривали? - спросил он. - Что вы говорили, моя дорогая?

Она молча подняла на него свои пустые глаза. Он вздохнул и сказал:

- Боже мой, если бы это когда-нибудь произошло по-настоящему!

Дня через три он опять услышал ее голос. На этот раз он потихоньку подошел к полуотворенной двери и Мари его не видела. Звуки, которые она издавала, были похожи на смену нескольких интонаций, и этот странный металлический голос был лишен какой бы то ни было окраски. Прошло еще некоторое время, и Пьер заметил, что она знала - или чувствовала - часы его прихода. Однажды, когда он вернулся домой днем, она ждала его за дверью. Но когда он вошел, она отшатнулась так, точно его впервые увидела.

- Это я. Мари, не бойтесь, - сказал он. Внимательно следя за выражением ее глаз, он заметил, что оно иногда изменялось. Число этих изменений было незначительно: удивление, неожиданность, недоверие, но эти выражения не совпадали с внешними обстоятельствами. Между тем, что происходило, и выражением глаз Мари не было никакой связи. Он заметил также, что несомненные изменения произошли с ее телом, - он по-прежнему ежедневно мыл ее в ванне. Раньше, как ему казалось, ее тело представляло собой просто анатомическую совокупность частей - руки, ноги, грудь, живот. Но через некоторое время как-то, когда он раздевал ее, чтобы посадить в ванну, он опять взглянул на нее всю, от плеч до ступней, и понял наконец, в чем дело. Ему показалось странным, что он не понимал этого раньше. Та нездоровая, матовая желтизна ее кожи, которую он заметил после того, как выкупал ее первый раз, исчезла. Теперь перед ним было тело с белой кожей, которая отливала розоватым оттенком, тело молодой женщины - широкие, мягкие плечи, невысокие груди, разделенные небольшим пространством, узкий живот, длинные ноги. Но это тело оставалось таким же невыразительным, как и ее лицо и ее пустые глаза. Каждое утро он спрашивал ее:

- Вы хорошо спали. Мари?

И каждое утро он встречал в ответ - ее пустой взгляд, которого он не мог забыть и к которому не мог привыкнуть.

То, что ему было тягостнее всего, это необходимость следить за ней, как за маленьким ребенком. Несмотря на то что она с самого начала спала на клеенке, которую Пьер аккуратно мыл и ежедневно менял, несмотря на то что окна комнаты, где спала Мари, оставались открыты почти весь день, все-таки каждый раз, переступая порог ее комнаты, он ощущал тот легкий дурной запах, который напоминал ему о бесплодности его усилий. Но он продолжал с прежним

упорством стремиться к тому, чтобы это изменилось. Он пробовал для этого самые разные способы, вплоть до применения теории условных рефлексов, - все, кроме насилия. Но когда потом, много позже, он случайно подумал об этом, он не мог вспомнить, что именно он делал. Во всяком случае, через много недель он добился своего: Мари стала вести себя нормально.

Пьер думал сначала, что это существеннейшее изменение автоматически повлечет за собой другие. Но этого не случилось, и во всем остальном Мари продолжала быть такой же, как раньше. Проходили дни и недели. По вечерам Пьер обычно сидел и читал. Иногда отрывая глаза от книги, он видел фигуру Мари на полу, у печки, в одной и той же позе, в той же неподвижности и в том же безмолвии. Очень редко она произносила своим искусственным, металлическим голосом несколько звуков, в которых не было ни слов, и смысла.

Вечером Пьер ложился в кровать и долго не мог заснуть. Иногда он вставал и шел посмотреть, спит ли Мари, но уже с порога он слышал ее ровное дыхание. Он возвращался к себе на цыпочках и опять ложился в постель. Он тщетно старался себе представить, что в ней происходит, и мысль о ней никогда не покидала его. Об одном он старался не думать, обходя это как нечто запретное, в чем ему было стыдно признаться даже самому себе. Это была мысль, которую короче всего он мог бы выразить так: что стало бы с этим бедным существом, если бы не было его, Пьера Форэ? Он не хотел об этом думать, но возвращался к этой же мысли другим путем: он представлял себе Мари такой, какой он ее увидел впервые. Затем он закрывал глаза, и Мари опять появлялась перед ним такой, какой она стала теперь, в его парижской квартире. В сотый раз он задавал себе бесплодный вопрос: кто была эта женщина и какой была ее жизнь до того дня, когда Франсуа нашел ее на дороге? Если бы его спросили, в чем состояла его задача, в чем он видел цель всего, что он делал для нее, он ответил бы, что он хотел бы вернуть ей разум и то место в жизни, которое ей принадлежит - или принадлежало. Это была правда, но не вся правда. Если бы он дошел в этих рассуждениях до конца, - то, что он смутно понимал, избегая на этом останавливаться, должно было бы быть выражено иначе: он хотел, чтобы к ней вернулся разум, но он не хотел бы возвращения ее прошлого.

Но и до того и до другого было очень далеко. Франсуа несколько раз звонил ему по телефону, и Пьер чувствовал, что становится просто неловко отвечать ему с той уклончивостью, с какой он это делал. Наконец он назначил ему свидание у себя, и вечером Франсуа приехал к нему.

Был сравнительно теплый день. Мари сидела в кресле в своей комнате она научилась уже сидеть не только на полу, как раньше. На ней было темное платье, она была в чулках и туфлях. Ее волосы, которые Пьер подстригал сам, спускались на плечи. На изменившемся, побелевшем лице было, однако, все то же мертвое выражение ее светлых и пустых глаз. Пьер ввел Франсуа в свою комнату.

- Ты ее сейчас увидишь, - сказал он, - и скажешь, какое она произведет на тебя впечатление. Я только боюсь, что твое появление может ее испугать.

- Я хотел с тобой о ней вообще поговорить, - сказал Франсуа. - Мне кажется...

- Подожди, мы поговорим потом. Пойдем сейчас к ней. Ты только молчи, говорить буду я.

Он вошел в ее комнату. Франсуа шел за ним.

- Добрый вечер, Мари, - сказал Пьер голосом, сдавленным от внутренней дрожи. - Это Франсуа, у которого вы жили на юге, наш общий друг...

Она дернулась назад в кресле, но выражение ее глаз не изменилось. Франсуа посмотрел на нее с удивлением и не произнес ни слова. В этой неподвижности и в этом молчании прошло несколько тягостных для Пьера секунд. Потом он сказал:

- Ну вот. Мари, мы вас больше не будем беспокоить.

Они вышли из комнаты. Пьер взглянул на Франсуа, лицо которого выражало все то же удивление.

- Чудесно! - сказал он. - Ты знаешь, - неправдоподобно!

- Я вижу ее каждый день, ты понимаешь, мне трудно отдать себе отчет...

- Я тебе говорю - невероятно, - сказал Франсуа. - У нее вид нормальной женщины. Она одета как все, она сидит в кресле. И потом ее лицо... неузнаваемо, милый мой, неузнаваемо, ты понимаешь? Ну, старик, поздравляю!

Он был искренно взволнован.

- Прости меня за нескромность, - сказал Франсуа. - Я говорю это потому, что, войдя в ее комнату, я не ощутил...

- В этом смысле она теперь ведет себя так, как всякое взрослое существо, - поспешно сказал Пьер.

- Поразительно! Поразительно! - повторил Франсуа. - Я должен тебе признаться, что я очень плохо верил... я не хотел тебе тогда говорить... То есть, я хочу сказать, я считал, что это совершенно невозможно. То, что было раньше, и то, что теперь, это небо и земля, ты понимаешь?

Они сидели в столовой, пили кофе.

- Ты не обращался к психиатру? - спросил Франсуа.

- Я был у него позавчера, - сказал Пьер. И он увидел перед собой приемную, в которой вчера долго ждал, потом - лицо пожилого человека с усталыми глазами, которому он рассказал историю Мари и ответа которого ждал с необыкновенным волнением. Психиатр внимательно выслушал его. Потом пожал плечами и сказал:

- Мы знаем множество отдельных случаев, и мы знаем некоторые из тех законов и причин, которые теоретически могут объяснить ту или иную эволюцию сознания больного. Но то, что мы знаем, это только незначительная часть того, что мы хотели бы знать. То, что мы можем - с большей или меньшей степенью достоверности - утверждать или предвидеть, это только ничтожная часть того, что подлежит нашему изучению. Я думаю, что эта женщина неизлечима. Но сказать это совершенно категорически я не могу.

Пьер вспомнил эти слова - и перед ним вдруг возникли с необыкновенной отчетливостью летние дни и густой лес, где он впервые встретил это "бедное больное животное", как ее называл Франсуа, запах муравейника, деревьев и земли, солнце в ясном синем небе, шум реки внизу, под обрывом, босые загорелые ноги Мари, ее неподвижные, светлые глаза.

- В конце концов - что другое мог тебе сказать психиатр? - сказал Франсуа.

На следующее утро, когда Пьер вошел в комнату Мари, она еще спала. В полутьме, к которой постепенно привыкали его глаза, он различал белую подушку, на которой лежала ее голова в длинных

волосах. На неподвижном ее лице было выражение далекого сонного спокойствия. Ему опять пришла в голову та же мысль, которая впервые мелькнула у него еще тогда, на юге: не лучше ли было бы оставить ее такой, какой она была, когда он ее впервые увидел - в этом, почти блаженном, быть может, состоянии, вместо того чтобы пытаться вернуть ее в тот жестокий и хаотический мир, который называется действительностью? Но в следующую же секунду он подумал, что теперь было уже слишком поздно. Он стоял, не двигаясь и продолжая смотреть на нее. В эту комнату, подходя к этой же кровати, в те дни, когда ему удавалось встать раньше матери, он приносил ей утром кофе. Он помнил ее еще наполовину сонный голос:

- Спасибо, Пьеро, мой маленький. Я опять проспала, а ты меня балуешь...

"Здесь покоится Мартина Форэ..." За последние месяцы он реже бывал на кладбище: деревья аллеи, зеленый выцветший мундир сторожа, от которого пахло дымом трубки и красным вином, и эти невыразительные могильные плиты с надписями, - весь этот призрачный мир разложившихся мускулов, исчезнувших чувств, обманутого ожидания, желаний, которые не успели быть удовлетворены, сожалений, которые были прерваны навсегда, непроверенных подозрений, ненайденных улик, неосуществившейся любви, житейской усталости. Пьер вспомнил роскошную могилу тетки Жюстины, - огромная мраморная плита с двумя ступенями у изголовья, огороженная стройной решеткой, искусственные цветы необыкновенной пышности и золотые буквы - "благочестиво скончавшаяся... да покоится в мире ее набожная душа...". Только через несколько лет после ее смерти в Париж приехала из Дижона пожилая женщина, вся в черном, с острым и сухим лицом без улыбки, дальняя родственница Альберта Форэ и тетки Жюстины, знавшая всю ее жизнь и обстоятельно рассказывавшая о ней. Дальняя родственница не пощадила тетку. Пьер тогда недоумевал: откуда, собственно, этой женщине могли быть известны такие подробности теткой биографии, которые могла знать только сама Жюстина? Но родственница, казалось, все знала. Эта сухая и худощавая женщина носила в себе неисчерпаемый запас многолетней ненависти и зависти

к покойнице, неизменных при всех обстоятельствах, и язвительности, не останавливавшейся ни перед какими сравнениями.

- Да, Мартина, если бы составить корпорацию из всех бывших любовников Жюстины, это была бы крупная организация. - И за этим шли бесконечные рассказы, - как тетка Жюстина пустила по миру такого-то, как застрелился из-за нее скромный молодой человек, растративший казенные деньги. - Это было безумие, Мартина, да, просто безумие, все говорили ему: опомнитесь, несчастный, разве вы не видите, что эта женщина вас губит? - Но он не мог остановиться. Первые сто тысяч, вторые сто тысяч... И она его даже не любила, у нее в то время было еще два любовника. - Родственница рассказывала, как умер Бержэ, полный шестидесятилетний человек, тот самый, который подарил Жюстине прекрасно обставленный дом и брильянтовое ожерелье, которым она так гордилась, - умер в ее кровати в час ночи. Жюстина вызвала из комнаты верхнего этажа своего второго любовника, вместе с которым они одели покойника и посадили его в кресло, а сами поднялись наверх и только "удовлетворив свою страсть", как выразилась дальняя родственница, Жюстина с не остывшим еще от объятий телом позвонила по телефону в полицию и потом рассказала полицейским, что мсье Бержэ пришел к ней в гости, сел в кресло, так, как вы его сейчас видите, - и умер мгновенно от разрыва сердца. Пьеру казалось совершенно неправдоподобным, чтобы какая бы то ни было женщина в мире могла думать при таких обстоятельствах, рядом с трупом, об "удовлетворении страсти". В рассказах родственницы, вероятно, - как он думал, - было много выдумки, но даже приняв это во внимание, нельзя было не прийти к тому выводу, что жизнь тетки Жюстины проходила все время по какой-то зыбкой границе между преступлением и развратом, и бесспорная ее скромность на склоне лет не могла уже ничего ни оправдать, ни изменить. Конечно, святые отцы могли бы все-таки избавить тетку Жюстину от этой непосильной тяжести могильной плиты с надписью о ее набожной душе.

- А впрочем, - думал Пьер, - всякий грех может быть прощен, и что можно возразить против того, чтобы душа тетки Жюстины покоилась в мире? В противоположность тому, что говорили и думали его родители, эта классическая фраза "нас обокрали" никогда не казалась ему убедительной, он никогда не жалел о неполученном

наследстве и для него существование тетки Жюстины было связано главным образом с детскими воспоминаниями о том, что; когда она приезжала, он ел вкусные вещи, которых в обычное время был лишен.

Мари наконец пошевелилась и открыла глаза. Он подошел к окну, отдернул занавески и открыл ставни. Потом он приблизился к ее кровати и сказал те слова, которые произносил каждый день, никогда не получая на них ответа:

- Вы хорошо спали. Мари? Хорошо? Он знал, что после этого наступит тишина, что потом он подождет минуту или две и поднимет ее с кровати. Это был ежедневный звуковой провал, к которому он привык за много месяцев. И вдруг Мари сказала:

- Хорошо.

Она произнесла это все тем же своим металлическим голосом, лишенным какого бы то ни было человеческого выражения. Он схватил ее за плечи и посмотрел ей в лицо. Оно было неподвижно, и огромные глаза Мари смотрели на него тем же взглядом, как и всегда, светлым и пустым. Он сделал невольную гримасу, сжал левой рукой лоб, на котором от волнения выступил пот, и сказал шепотом:

- Это, может быть, я сумасшедший... Потом он занялся ее туалетом, и это отвлекло его. Но когда он вышел на улицу, он снова стал думать о том, что произошло полчаса тому назад. Было начало апрельского облачного дня. Он шел по направлению к бульвару Сен-Мишель, мимо домов, которые он знал с детства, мимо той витрины меховщика, где в глубине магазина сидел на жердочке прикованный к ней тоненькой цепочкой свирепый зеленый попугай крупных размеров, никогда не издававший ни одного звука, - и отец Пьера, когда они однажды вдвоем проходили мимо этого магазина, сказал:

- Хотелось бы мне знать, а? Пьеро? О чем эта птица молчит столько лет?

Но хозяин магазина, румынский еврей, говоривший по-французски с таким смешным акцентом, лысый, толстый, маленький человек с особенным выражением жирной печали в черных, восточных глазах, уверял вопреки очевидности, что попугай все может сказать и все понимает, но стесняется посторонних. Было ясно, что Мари не понимала слово, которое она сегодня произнесла. Она уловила слухом одно несложное фонетическое сочетание - и больше ничего. Но все-таки это был какой-то сдвиг, к которому до сих пор она

не была способна. Может быть, все было менее безнадежно, чем казалось? В сущности, он всегда, с первой минуты, верил в чудо, в возможность ее выздоровления, с того самого жаркого августовского дня, когда он шел вниз, по глинистой дороге навстречу Франсуа. И если посмотреть со стороны, то, конечно, очевидно, что теперь Мари уже вышла - или начинает выходить - из того мертвенно-неподвижного состояния, о котором Франсуа сказал, что оно делает ее похожей на бедное больное животное. Как всегда, то, что Пьер думал о ней, он не мог бы изложить в логически построенных фразах. Это чаще всего были почти бесформенные мысли, которые сменялись другими, не успев приобрести даже приблизительной отчетливости. Но их смутное движение было непрерывно, и именно оно определяло смысл его теперешней жизни - в гораздо большей степени, чем то, что его звали Пьер Форэ, что у него была квартира недалеко от площади Данфэр-Рошери и что он был главным бухгалтером анонимного общества Анри Дюран и компания.

На следующее утро, когда Пьер задал ей тот же вопрос, она опять произнесла своим нечеловеческим голосом то же самое слово - "хорошо". Прошло еще два дня - и когда вечером Пьер посмотрел в лицо Мари, он увидел, расширенными от изумления и почти ужаса глазами, - он увидел, что она улыбалась. Это произвело на него такое впечатление, что он перестал отдавать себе отчет в том, что делает. Только через несколько минут он заметил, что идет по улице не зная куда и глядя прямо перед собой. Накрапывал мелкий дождик. Во влажном воздухе светили фонари. - Мы знаем историю множества отдельных случаев, и мы знаем некоторые из тех законов или причин, которые в принципе объясняют то или иное изменение в сознании того или иного больного. Но то, что мы знаем, это только незначительная часть... - Пьер вспоминал эти слова пожилого человека с усталыми глазами. Он думал одновременно о многом другом. Он снова увидел перед собой густой лес в летние дни, босые загорелые ноги Мари, ее неподвижные безумные глаза. Потом он заметил, что он все время дрожит и что у него трясутся руки.

- Нет, надо все понять сначала, - сказал он вслух. - Что произошло? Что будет теперь?

Он сел на мокрую уличную скамейку, но сразу же поднялся с нее и пошел дальше. Неподалеку светилась витрина кафе. Он вошел в это

кафе, остановился у стойки и сказал:

- Дайте рюмку коньяку.

Пьер питал органическое отвращение к алкоголю и никогда не пил даже вина. Коньяк обжег ему горло, он поперхнулся, закашлялся. Но дрожь после этого прекратилась и руки перестали трястись. Выйдя из кафе, он долго еще шагал под дождем по улицам и вернулся домой довольно поздно. Когда он пришел, Мари спала, и он старался угадать в темноте, какое у нее теперь лицо. Потом, не зажигая света, он вышел из ее комнаты и притворил дверь. Была ночь с субботы на воскресенье. Пьер лег в постель и сразу заснул. Ночью он просыпался много раз. Наконец в восьмом часу утра он встал, принял ванну, приготовил кофе и вошел в комнату Мари. Она уже не спала. Он взглянул на нее - и отшатнулся: с подушки, в которой тонула голова Мари с ее длинными волосами, на него смотрели ее человеческие глаза.

- Мари, вы понимаете, что случилось? - закричал он. - Извините, что я повысил голос. Но вы понимаете, что произошло чудо? Если бы вы знали, как долго и мучительно я на это надеялся и сколько раз я терял надежду! Никто в это чудо не верил, никто, кроме меня. Я даже не могу сказать, что я в это верил, но это был для меня, вы понимаете, вопрос жизни и смерти, - морально, вы понимаете?

Она молча смотрела на него, и он был уверен, что она понимает каждое его слово. Он остановился и сказал:

- Да, сейчас мы будем пить кофе, я забыл об этом, простите. - Он принес кофе, налил его Мари, затем себе и сделал несколько плотков.

- У нас много времени, Мари, и я бы не хотел, чтобы вы себя напрасно утомляли, все придет постепенно. Мне кажется, что вы сейчас похожи на человека, который долго жил во тьме и вдруг увидел дневной свет. Знаете ли вы, что произошло и что этому предшествовало? Все это началось шесть лет тому назад. Была война. Мой товарищ Франсуа нашел вас на краю дороги, вы лежали без сознания. Он вас поднял и привез к себе, в тот дом в лесу, на юге Франции, где он живет летом и где он в то время жил круглый год. Вы пришли в себя, то есть, вы открыли глаза. Но вы ничего не могли сказать, и ваше сознание было как бы атрофировано. Вы жили потом, в течение пяти лет, чисто органической жизнью. Вы ели, спали, ходили, но вы не понимали, вероятно, даже того, что вы существуете,

и вы повиновались только физиологическим потребностям. Когда я приехал на лето к Франсуа, - это было год тому назад, - я вас нашел именно в таком состоянии. Я привез вас в Париж, сюда, в эту квартиру, и все это время я старался вам помочь вернуться в юг мир сознательной человеческой жизни, из которого вы были насильственно вырваны, не знаю как и не знаю когда. И вот вчера я первый раз увидел на вашем лице улыбку, а сегодня утром человеческое выражение глаз. Я не могу вам описать того, что я испытал при этом. Вы знаете, кто вы такая и что с вами случилось?

Она ничего не ответила и закрыла глаза. На ее лице было выражение усталости, которого Пьер никогда до тех пор не видал.

Пьер не знал, как теперь надо было действовать. Он позвонил по телефону психиатру, сказав, что должен сообщить ему очень важные вещи и спросить его совета, - как быть дальше? Психиатр принял его в тот же день, и Пьер подробно рассказал ему, что произошло.

- Я должен вас поздравить самым искренним образом, - сказал психиатр. Судя по тому, что вы говорите, мне кажется, что потрясение, которое ее лишило памяти и рассудка, было более глубоким и трагическим, чем можно было подумать сначала. Насколько я себе представляю с ваших слов, тот мир, в который она, по-видимому, входит теперь, это не возврат к прежнему, а нечто новое. Возможно, что ей придется все начинать сначала, то есть постепенно усваивать те понятия, которые составляют основу нашего сознательного существования. Это может занять много времени. Впрочем, опять-таки мы можем оперировать только гипотезами. Может быть, это пойдет иначе. Не подталкивайте ее вперед, не ставьте перед ней слишком трудных задач, действуйте так, как если бы вы имели дело с ребенком. Этот метод во всяком случае повредить ей никак не может, и я склонен полагать, что он будет самым целесообразным. Повторяю, я не думаю, что она вернется к тому, что предшествовало тому дню, когда ваш товарищ подобрал ее на дороге. Однако и это нельзя считать категорически исключенным. Вы увидите сами. Но самое трудное позади, и должен вам сказать, что я с вами согласен, это похоже на чудо.

Потом он поднял на Пьера глаза и прибавил:

- Впрочем, слово "чудо" мы, вероятно, понимаем по-разному. Для меня чудо-это не то, чего не может быть, а то, чего мы не можем постигнуть, так как не знаем ни его природы, ни тех законов, которые эту природу определяют. Но так или иначе, то, что произошло, это именно чудо, как бы это ни понимать.

"Действуйте так, как если бы вы имели дело с ребенком", - это было главное, что сказал психиатр; так казалось Пьеру потому, что эти слова были подтверждением того, что он думал сам.

Когда Пьер вернулся домой после визита к психиатру и опять увидел Мари, его поразило неузнаваемое ее лицо. Ему казалось, что он знает его как никто в мире - этот прямой нос, эту линию губ, этот лоб почти без морщин. Но до сих пор это лицо искажал неподвижный и пустой взгляд. Теперь оно все вдруг осветилось, и когда Пьер посмотрел в эти новые, человечески теплые глаза Мари, у него мгновенно сжалось горло и он понял, что эта неизвестная женщина и ее жизнь для него важнее, чем все в мире. Но на этом лице и в этих глазах было выражение усталости. У Пьера было впечатление, что где-то в глубине сознания или души Мари происходит мучительная работа и что усилия, которые она делает, ее утомляют. Так как она по-прежнему молчала, то он не спрашивал ее ни о чем, но говорил ей о многом, так же, как он говорил раньше, когда знал, что она его не понимает и не может понять. Ему казалось, что она слушает его с напряженным вниманием и не пропускает ни одного слова. Потом он спохватывался и останавливался.

- А теперь, Мари, отдохните и не думайте ни о чем. Перед вами целая жизнь, вы успеете все узнать. Не надо торопиться, не надо делать слишком больших усилий.

Он несколько раз звонил Франсуа, но Франсуа не было в Париже. Наконец, через три дня, Франсуа ему ответил.

- Где ты был? - спросил Пьер. - Я тебе звонил десять раз.

- Что-нибудь случилось?

- Я тебе не могу этого рассказать по телефону, - сказал Пьер, - мне надо с тобой поговорить по-настоящему.

Когда они встретились в кафе, недалеко от дома, где жил Пьер, Франсуа сказал:

- Ну, старик, что? Мари?

- Я даже не знаю, как это сказать. Произошло то, на что никто не мог надеяться. Она начинает приходить в себя.

Франсуа смотрел на него остановившимися глазами.

- Подожди, - сказал он, - подожди. Расскажи мне подробно, не спеша и не волнуясь, все, что случилось.

Пьер рассказал ему о тех изменениях, которые произошли, о том, как он увидел на лице Мари улыбку, о том, как на следующее утро она посмотрела на него глазами, в которых впервые появилось человеческое выражение.

- Ты знаешь, - сказал он, - это так на меня подействовало, что я чуть не сошел с ума.

- Было от чего, - сказал Франсуа. - Но в остальном она тоже начала действовать, как нормальная женщина?

- Нет еще, но мне кажется... я хочу сказать, что меня не удивило бы, если бы это произошло завтра или послезавтра.

- Ты знаешь. Пьеро, ты меня прости, мне трудно себе это представить. То есть я, конечно, это понимаю, но я столько лет видел ее в животном состоянии, что для меня то, что ты рассказываешь, кажется невероятным. Значит, мы все ошибались, все, кто ее видели хотя бы раз. Не ошибся только ты.

- Я ни в чем не был уверен, - сказал Пьер, - наоборот, я скорее думал так же, как ты. Но мне было ее бесконечно жаль. В конце концов, в том, что я делал по отношению к ней, риска никакого не было, хуже стать ей не могло.

- Тут я с тобой не согласен, - сказал Франсуа, - все могло случиться; она могла, например, не понимая этого, устроить пожар и сгореть, могла упасть и разбиться. И эта смерть в какой-то степени была бы на твоей совести. Ну, слава Богу, эти опасности теперь, надо надеяться, в прошлом. Но что же будет дальше?

- Я об этом думаю все время, - сказал Пьер. - Ты знаешь, я никогда так не жалел о том, что я ничего не знаю о стольких вещах. То, что происходит или может произойти, я понимаю только ощупью, пытаюсь как-то это угадать. У меня нет представления об элементарных законах психологии, о том, как действует человеческое сознание, о том, чем диктуется или определяется то или иное поведение человека. Ты понимаешь, Франсуа, я не ученый, я бухгалтер.

- Не говори глупостей, - сказал Франсуа. - Уверю тебя, что большинство ученых сделано из того же теста, что большинство бухгалтеров, у меня по этому поводу иллюзий нет. Эйнштейн один, - а сколько ученых, которые должны бы были быть бухгалтерами? Но не в этом дело. Ты говоришь, что ты все время думаешь о том, что будет дальше. Я тебя слушаю.

- Два предположения, - сказал Пьер, - так сказать, логически, ты понимаешь? Первое, это что произойдет то, что думает психиатр: она, как ребенок, начнет учиться понимать то, что ее окружает, словом, начнет жить так, точно этому ничто не предшествовало. Никакого прошлого у нее нет и быть не может. И за эту жизнь ответственен я, и я считаю, что уклониться от этой ответственности я не имею права.

- Второе предположение? - спросил Франсуа.

- Второе предположение - это что она вспомнит постепенно все, что предшествовало тому дню, когда ты поднял ее с дороги, на которой она лежала без сознания. Это значит, что она вернется к своей собственной жизни. И то время, в течение которого она жила у меня, будет похоже на пребывание в клинике, ты понимаешь?

- И как ты думаешь действовать в этом случае?

- Как я могу действовать? - сказал Пьер. - Помочь ей в этом, какие тут могут быть сомнения? Все совершенно ясно.

- Да, да, конечно, - сказал Франсуа неуверенным голосом. - Но ты меня извини. Пьеро. Положа руку на сердце: ты бы действительно хотел, чтобы она все вспомнила?

Пьер опустил голову, потом поднял ее и посмотрел Франсуа прямо в глаза.

- Видишь ли что, Франсуа, я тебе отвечу откровенно. Если бы тебя спросили, что ты думаешь обо мне, то есть считаешь ли ты меня человеком, в общем, порядочным и не эгоистом, - что бы ты сказал?

- Я бы попросил, чтобы мне задали менее глупый вопрос, - быстро ответил Франсуа.

- Я тебе задаю такой вопрос, - сказал Пьер, - потому что я представляю себе, что ты обо мне думаешь, и должен тебе сказать, что ты ошибаешься. В одном, во всяком случае, ты ошибаешься.

- Как? И в чем?

- Я хотел бы быть твердо уверен в том, что могу считать себя человеком порядочным, - сказал Пьер. - В этом ты, может быть, не

ошибаешься. Но то, в чем я убедился за последнее время, это что я, к сожалению, эгоист. Представь себе, что я бы предпочел, чтобы Мари не вспомнила своей прежней жизни.

- Я это знаю. Пьеро, - сказал Франсуа.

- Я часто ловил себя на мысли, - сказал Пьер, - что я теоретически готов пожертвовать ее возвратом к прежней жизни ради своего собственного морального и душевного удовлетворения, ты понимаешь? И к этому нужно еще прибавить какую-то глупейшую манию величия: дескать, я, Пьер Форэ, я создал эту женщину, я дал ей жизнь.

- Но это так и есть, - сказал Франсуа.

- Нет, - сказал Пьер, - нет, это не так. Если бы это было так, то каждый фельдшер имел бы право на манию величия. Ухаживать за больным может всякий. Но дело не в этом. Да, я готов ради своего морального удовлетворения пожертвовать всем, что у нее есть или было в жизни. Но если бы я так поступил, это было бы с моей стороны последней душевной низостью, то есть моим собственным моральным самоубийством, не говоря уж о том, чем это было бы по отношению к ней. Я этого не сделаю ни при каких обстоятельствах. Я останусь один - со своим эгоизмом и со своей манией величия, но с сознанием того, что я не исковеркал ее жизнь и что я не совершил насилия над ее свободой. И если нужно, чтобы один из нас пожертвовал чем-то для другого, то это должен сделать я, а не эта бедная женщина, которую мы с тобой вернули к жизни. Да, да, не смотри на меня так удивленно. Я говорю - мы с тобой. Ты ее поднял с дороги, ты кормил ее несколько лет, она жила, в общем, у тебя, ты согласился на то, чтобы я взял ее в Париж, без тебя все это было бы невозможно и ее, вероятно, давно бы не было в живых.

- "Мы с тобой", - это вздор. Пьеро, - сказал Франсуа. - Но, конечно, судьба этой женщины для меня далеко не безразлична. Как фамилия твоего психиатра?

- Ты хочешь с ним поговорить?

- Ты понимаешь, Пьер, нужно все-таки знать теперь, как надо действовать. Теперь твоя ответственность может быть больше, чем была до сих пор.

- Я это знаю, - сказал Пьер. - Я буду действовать так, как сказал психиатр и как я действовал бы даже без его указаний, - интуицией,

ощупью.

- Но, может быть, какая-нибудь ошибка с твоей стороны повлечет за собой риск, ты можешь, не желая того, заставить ее сойти с той дороги, по которой она сейчас идет.

- Какая дорога? - сказал Пьер. - Что мы знаем об этой дороге? Ты можешь это назвать пробуждением или возвращением к жизни. Но ты не знаешь, что такое жизнь в ее сознании, что это для нее значит. И этого никто не знает, ты понимаешь?

- Мне почему-то кажется, - сказал Франсуа, - что теперь события должны пойти быстрее.

- Будем надеяться, - сказал Пьер. - Я тебе позвоню на днях.

Через несколько дней после этого разговора с Франсуа, когда Пьер вернулся со службы домой. Мари не было в столовой, где она обыкновенно ждала его, сидя в кресле. Но он чувствовал ее присутствие и знал, что она в квартире. Он прошел в ее комнату и увидел, что она лежала, одетая, на кровати. Она услышала его шаги, повернула голову в его сторону и посмотрела на него мутными глазами.

- Что с вами? - спросил он.

Она, как всегда, не ответила. Он подошел к ней и положил руку ей на лоб. Лоб был горячий. Пьер поставил ей термометр и когда через пять минут посмотрел на ртутную колонку, он испугался: у Мари температура была сорок и два. Она тяжело стонала, сжимая голову руками. Потом ее начало тошнить. Пьер позвонил доктору, который приехал через час и сказал, что у больной менингит. Пьер тотчас же позвонил на службу и сказал, что берет отпуск на несколько недель. То, что было потом, было самым тягостным испытанием в жизни Пьера. В течение трех долгих недель он не отходил от постели Мари и спал одетый несколько часов в сутки, сидя в кресле, которое поставил рядом с ее кроватью. Иногда у Мари начинался бред, и она кричала задыхающимся голосом непонятные и бессвязные слова. Однажды ночью Пьер проснулся от того, что услышал (как ему показалось) глухой звук тяжелого удара и увидел, что Мари упала с кровати головой вниз. Он поднял ее и положил на постель. Она была без сознания. Он каждую минуту боялся, что она умрет. Иногда она

приходила в себя, вздыхала, и несколько раз Пьер видел, что ее лицо было мокро от слез. Он вытирал его платком и говорил:

- Не надо плакать, Мари, это пройдет. Время от времени он выходил из ее комнаты, варил себе очень крепкий кофе и возвращался к Мари, которая была все в том же состоянии, как ему казалось. Но доктор, которому Пьер плохо верил, сказал, что больной, по его мнению, лучше и что она, по-видимому, теперь вне опасности. Франсуа приезжал почти каждый день.

Однажды под утро - шла четвертая неделя болезни Мари - Пьер не заметил, как заснул, сидя в кресле. Он проспал так часа два. Когда он проснулся, сквозь ставни окна уже проходил дневной свет. Он встал с кресла, подошел к Мари и встретил взгляд ее ясных глаз.

- Вы пришли в себя, Мари, слава Богу, - сказал он. - Я заснул не вовремя. Как вы себя чувствуете?

Это утро Пьер запомнил на всю свою жизнь. Он никогда не мог его забыть - потому, что в ответ на его вопрос Мари сказала:

- Гораздо лучше.

Пьер настолько устал за эти три недели, в течение которых он почти не спал, что он не сразу понял все значение этого ответа. Он только с удивлением прислушивался к звуку голоса Мари. Это был совершенно новый ее голос, который он слышал в первый раз: в нем больше не было того искусственного металлического оттенка, характерного для нее раньше. Этот новый голос наполнял смыслом слова, которые он произносил, и в нем не оставалось больше той тревожной железной легкости, которая была прежде.

- Наконец я слышу ваш настоящий голос. Мари, - сказал Пьер со спокойствием, которое удивляло его самого и которое, как он подумал позже, объяснялось только его усталостью. - Вы знаете, что вы были тяжело больны три недели, и я все время боялся за вашу жизнь, которая висела на волоске.

- Мне было очень плохо, - сказала она. - Теперь мне кажется, что я только сейчас пришла в себя.

"Она говорит, - думал Пьер, - этого не может быть. Вероятно, я брежу. Этого не может быть". Но этот новый голос продолжал звучать рядом с ним.

- Я все видела так смутно, все - как в тумане. Единственное, что я чувствовала, это что я не одна, что рядом со мной кто-то есть.

Потом этот голос умолк. Пьер посмотрел на Мари и увидел, что она заснула. Тогда он прошел к себе, лег, не раздеваясь, на кровать, и через несколько секунд он уже спал глубоким сном, впервые за последние три недели. После этого началось медленное выздоровление Мари. Она была так слаба, что ей трудно было говорить, и большую часть времени она спала. Наконец наступил день, когда она в первый раз могла сделать несколько шагов по комнате. Но это настолько утомило ее, что она опять легла на кровать и заснула. Утром Пьер не решался ее будить. Но когда он опять вошел в ее комнату, - был уже час дня, - он увидел, что она проснулась.

- Вот и я, - сказал он. - Вы не хотите есть. Мари? - Она утвердительно кивнула головой, и он ушел на кухню. Потом он вернулся и накрыл в ее комнате стол, который придвинул к ее кровати. Когда он налил в тарелку Мари горячий бульон, - тот самый, которым он должен был ее кормить по предписанию доктора, - она проглотила несколько ложек и сказала:

- Ах, как вкусно. Это вы приготовили? Каждый раз теперь, когда она начинала говорить, Пьер вздрагивал от неожиданности. Он смотрел на нее так пристально, что она улыбнулась и спросила:

- О чем вы думаете?

- Я думаю о том, что с вами случилось во время вашей болезни, - сказал он. - О том, что произошло.

- Я не знаю, - сказала она. - Мне показалось, что мне вдруг стало легко дышать. Но я не помню, что было до болезни.

- Вы не помните наших разговоров? Не помните, что я вам говорил?

- Почти ничего, - сказала она. - То, что я помню, это звук вашего голоса и ощущение вашего присутствия.

- Мне кажется сейчас, что я вас никогда не знал, - сказал Пьер. - Мы с вами встречаемся сегодня первый раз в жизни. Да, я вас никогда не знал. Но я знал то, из чего вы возникли, - и это была очень страшная вещь, Мари.

- То, из чего я возникла? Что вы хотите сказать?

- Я вам это рассказывал, вы не помните этого?

- Нет, - сказала она. - Но почему вы меня называете Мари?

- Потому что никто не знает вашего имени. Вы знаете, как вас зовут? Вы знаете, кто вы, где вы родились, сколько вам лет?

- Нет, сейчас я не могу этого сказать. Единственное, что я помню, это ощущения - боль, усталость, пустота и потом - ваше присутствие рядом со мной. Больше ничего.

- Я вам много раз говорил о том, что с вами было, - сказал Пьер. - Но так как вы этого не помните, то я вам расскажу это еще раз. Все это началось несколько лет тому назад...

Она внимательно слушала его. Пьер смотрел в ее глаза, и его голос несколько раз прерывался.

- Мне самому теперь все это кажется неправдоподобным, - сказал он, теперь, когда я смотрю на вас и вижу, что вы понимаете каждое слово. Если бы вы знали, сколько раз я приходил в отчаяние, когда мне казалось, что все мои усилия не приведут ни к чему.

- Но как у вас хватило сил на все это? И почему вы это делали?

- Почему? - спросил Пьер с удивлением. - Потому, что если бы вы видели себя такой, какой вы были, и такой, какая вы сейчас, то вы бы поняли, что этот результат стоит каких угодно усилий. Вас не было, Мари, вы понимаете, вы не существовали. Я не умею говорить, не нахожу слов, я не могу описать того, что было. Но если вы живы и если вы существуете, то это потому, что несколько лет тому назад мой товарищ нашел вас лежащей на дороге и взял к себе. Я вам о нем говорил, его зовут Франсуа. Вы его тоже не помните?

- Нет, - сказала она. - Единственный человек, которого я помню, это вы. Вернее, даже не вы, а просто чувство вашего присутствия. Мне кажется, что это чувство, это ощущение я знала всегда. Как вас зовут и кто вы такой?

- Меня зовут Пьер Форэ, - сказал он, - и я счастливейший человек в мире.

Неожиданная мысль пришла ему в голову. Он сказал:

- Мари, подождите меня немного. Мне надо по делам, я скоро вернусь.

Он вышел из дома. Был теплый майский день. Он вошел в первую телефонную кабинку и набрал свой собственный номер. Глядя прямо перед собой в стену кабинки, он ждал, - что произойдет? После первого звонка раздался второй, третий. Затем далекий и спокойный голос Мари сказал с вопросительной интонацией:

- Алло?

Пьер растерялся. Вместо того чтобы произнести несколько слов, он повесил трубку. Выйдя из кабинки, он остановился и прислонился к стене. Мимо него прошел пожилой рабочий, который вел под руку толстую немолодую женщину с красным лицом. Взглянув на Пьера, она отвернулась и громко сказала:

- Видишь, что бывает с людьми, когда они пьют, стыдно смотреть.

Пьер слышал ее слова и понимал, что это о нем. Но красное лицо женщины вдруг расплылось и исчезло, и Пьер на секунду перестал понимать, что происходит. Потом он подумал о значении того, что случилось: он позвонил домой по телефону и Мари ответила на его звонок. С силой, какой он себе не представлял, он испытал сложное чувство восторга и отчаяния одновременно. И первый раз за все время он боялся вернуться домой.

Он думал о том, о чем он говорил с Франсуа. Все представлялось ему смутным и нестройным, все захватило его врасплох, и он не мог сделать из этого тех выводов, которые нужно было сделать. Он вдруг вспомнил, как в лицее, когда он написал одно из наиболее трудных сочинений, учитель сказал ему:

- У вас, Форэ, в том, что вы пишете, и в том, как вы пишете, преобладает элемент впечатления, а не последовательного рассуждения. Сочинение должно быть написано так, чтобы было ясно, что именно вы хотите сказать, и чтобы был также ясен ход тех рассуждений, которые привели вас к вашему окончательному заключению. У вас нет этой последовательности, вам нужно обратить на это внимание. Во всем необходима строгая дисциплина, и дисциплина мышления - прежде всего.

"Дисциплина мышления", "логические выводы"... Эти слова звучали теперь с особенной неубедительностью. Все это, может быть, имело значение до самых последних дней, но теперь то, что было раньше, рухнуло и возникло нечто новое, что могло оказаться или счастьем, или катастрофой. Пьер думал о том, что он давно и с необыкновенным упорством стремился к той цели, которую теперь можно было считать достигнутой; вся его жизнь была построена на этом расчете. Но сейчас, когда настало то, чего он тщетно так долго добивался, он не знал, что дальше делать. Он думал о том - и эта мысль казалась ему абсурдной и возмутительной: может быть, было бы лучше, если бы Мари не приходила в себя? Пока она не понимала

происходящего, все было ясно и просто. Теперь не оставалось ни этой ясности, ни простоты. Пьер знал, как он должен действовать по отношению к Мари. Но это было одно. А другое - было чувство непоправимой потери, которое он испытывал: то, ради чего он жил, перестало существовать. Теперь возник новый вопрос: что могло связывать его с этой неизвестной женщиной? До последнего времени он был ей необходим, как больному - врач или сиделка, как ребенку - родители. Теперь Пьер ей был нужен только до того времени, когда наступит день ее возвращения к прежней жизни.

"Она не может понять того, что произошло, - думал Пьер. - Разве она может знать, сколько усилий потребовалось для того, чтобы она спокойно дожила до своей болезни, до этой высокой температуры, до этого последнего сдвига, который вернул ее к сознательной жизни? Весь этот долгий период времени, - то, как она жила у Франсуа, как я ее привез в Париж, и то, что было в Париже, - это знаем только мы, Франсуа и я. Она ничего не знает, не знает, чего стоило вернуть ее к жизни. И она не должна этого знать. Для нее это не существует. Но что будет теперь?" Наконец он решился вернуться домой. Мари сидела в своем кресле и как бы ждала его.

- Вам звонили по телефону, - сказала она, - но когда я ответила, тот, кто звонил, повесил трубку.

Пьер пристально на нее посмотрел, вздохнул и вышел из комнаты.

- Конечно, c'est un de conscience {Это вопрос совести (фр.)}, - сказал Франсуа.

Это было на следующий день, когда Пьер вызвал Франсуа и они встретились, как всегда, в кафе. Четверо пожилых людей за соседним столиком играли в карты. За другим сидел старик с мутными глазами и седыми усами, с неподвижным, точно деревянным лицом; время от времени он подносил стакан красного вина, и Пьер заметил, как у старика дрожали руки. Еще дальше сидела немолодая, очень накрашенная женщина, с ней разговаривал смуглый человек южного типа, обе руки которого были татуированы.

- Я плохо спал, - сказал Пьер. - Ты знаешь, я теперь особенно жалею, что никогда так и не научился логически мыслить. Но все-таки одно мне ясно.

- Что именно?

- Она не должна знать подробностей того, что происходило в течение всех этих лет. Ей надо об этом сказать в нескольких словах: она потеряла сознание и память, ты ее поднял с дороги, она жила у тебя. Потом я привез ее в Париж, и здесь через некоторое время она пришла в себя. Больше ничего. Я ей приблизительно так и рассказал и жалею еще, что сказал слишком много.

- Ты думаешь, что о твоей роли во всем этом не нужно говорить? Ты не хочешь, чтобы она считала себя обязанной тебе тем-то и тем-то? Что это в какой-то степени связывало бы? Ты это хочешь сказать?

- Ты понимаешь, если она будет думать, что без нас она бы погибла, это может в известной мере стеснить ее свободу и с нашей стороны это было бы нечто похожее на моральный шантаж.

- О каком шантаже может быть речь, что ты рассказываешь? - сказал Франсуа. - Но дело не в этом. Я сейчас думаю не о ней, а о тебе. Потому что тебе надо опять перестраивать свою жизнь.

- Ты знаешь, - сказал Пьер, - у меня такой хаос в голове, что я плохо представляю себе значение всего, что произошло. Я никогда, мне кажется, не испытывал такой душевной тревоги. Вместе с тем это нелепо, я должен был бы чувствовать себя счастливейшим человеком в мире. Это так и было вначале, когда я убедился, что она пришла в себя. А сейчас...

Франсуа смотрел на него с сожалением. Он глядел на Пьера, точно видел его первый раз: незначительное лицо с печальными глазами, очень белые и чистые руки с короткими ногтями, необычайная аккуратность во всем облике - у Пьера всегда был такой вид, как будто он только что принял ванну, только что побрился, только что был у парикмахера и надел только что разглаженный костюм. Но кроме этих обязанностей, подумал Франсуа, у Пьера был вид человека, у которого не может быть в жизни решительно ничего, что резко отличало бы ее от других, самых обыкновенных существований, вплоть до профессии. Именно людей такого облика социологи и журналисты называют средними французами. "Если вы поставите этот вопрос среднему французу..." "Если вы спросите среднего француза, что он об этом думает..." - "Огромное большинство так называемых средних французов..." - где он читал эти слова? Он сделал усилие и вспомнил:

это была статья в журнале, автор которой, известный социолог, доказывал, что в условиях современной цивилизации неизбежно вырабатывается средний тип людей, у которых нет резко выраженной индивидуальности, которым поэтому закрыт путь к известности и которые всегда остаются на своих скромных местах - рабочие, служащие, мелкие коммерсанты. Разница в их происхождении, наследственности, их личных особенностях мало-помалу стирается жизнью, которую они ведут и в которой фактически нет возможности выделиться. Сам по себе этот стимул выдвижения в их существовании постоянно отмирает, и в результате в современном обществе формируется именно тот тип среднего человека, на который так часто ссылаются и которому одинаково чужды и непонятны и подвиг, и преступление, и душевное благородство, и крайняя душевная низость. Современный мир, писал автор статьи, характеризуется все возрастающим числом именно таких людей, общественных животных, если пользоваться терминологией Аристотеля. И если это будет продолжаться, то культуре, и в частности искусству, грозит опасность иссякнуть. Уже в наши дни трудно представить себе появление Софокла, Леонардо да Винчи, Шекспира, - не потому, что больше не может быть таких гениев, а оттого, что для современной цивилизации характерна тенденция нивелирования человека. История человечества - это история преступлений и подвигов, это Библия, это Аттила, это Иоанн Грозный, Наполеон, зловещие призраки, время которых кончилось... Мы вступаем в эпоху торжества среднего человека, когда десятки миллионов людей будут жить совершенно одинаковой жизнью, в одних и тех же условиях и даже внешне станут похожи друг на друга, как это наблюдается уже теперь в некоторых промышленных центрах земного шара. Посмотрите на этого среднего человека, и вы убедитесь, что в его жизни не будет ничего неожиданного, ничего чрезвычайного, ничего выдающегося - он не способен ни на преступление, ни на героизм, ни на крайнюю подлость, которая могла бы его отличать от других, ни на великодушие, которое могло бы сделать его не похожим на современников.

Все это Франсуа вспомнил в несколько секунд и, вернувшись к началу своих размышлений, подумал, что по своему внешнему облику и по своей профессии Пьер был именно одним из тех средних людей, о которых была написана эта статья.

- О чем ты думаешь? - спросил Пьер.

- О том, как все нелепо, - сказал Франсуа. - Вот мы ставим себе какую-то цель и делаем все, чтобы ее достигнуть. И нам кажется, что когда эта цель будет достигнута, тогда все станет замечательно. Иногда, конечно, это так и бывает, но далеко не всегда. То, что мы делали для достижения этой цели, было смыслом нашего существования. Но вот цель достигнута. Что дальше? Это именно то, что произошло с тобой. Но с тобой случилось еще одно - ты, в сущности, сделал все, чтобы помочь женщине, которую ты не знаешь и которую никогда не знал. Ты знал это несчастное существо, это бедное животное, которое называл Мари. Ты сделал для этой Мари все, что мог, - и ты добился того, что она, эта женщина, в которой за последнее время был смысл твоей жизни, перестала существовать.

- Да это так и есть, - сказал Пьер, - я это понимаю. Но я не мог поступить иначе, и я искренне рад тому, что случилось. Я только не знаю, как действовать теперь.

- Ну, - сказал Франсуа, - ты же сам сказал, что тут у тебя так же нет свободы выбора, как не было до сих пор. Ты говоришь, что она стала совершенно нормальной?

- Я в этом убедился, когда позвонил ей по телефону.

- Я не знаю, - сказал Франсуа, - значит ли это, что она вспомнит то, что было раньше в ее жизни. Но это, конечно, может случиться. И может быть, опять-таки в этом случае ты останешься ее хорошим знакомым.

- Нет, тогда я ей буду не нужен. Ты знаешь, я сейчас чувствую необъяснимую душевную усталость. Ты думаешь, может быть, это и есть результат достижения цели? Тогда, по-твоему, выходит, что достижение цели несет в себе всегда, с самого начала, нечто разрушительное, так сказать, свою собственную смерть. Что же тогда делать дальше?

- Если у тебя еще есть силы, то поставить себе другую цель, - сказал Франсуа, поднимаясь. - Или делать, как советуют англичане: wait and see {Подождать и посмотреть, выждать (англ.)}.

Когда в этот вечер Пьер вернулся домой, приготовил ужин и он и Мари сели за стол, он смотрел на нее с упорным вниманием и не переставал удивляться. Он успел привыкнуть к мысли, что по-

настоящему он никогда не знал ее лица, потому что до сих пор оно было искажено пустыми, светлыми глазами. Но то, что удивляло его теперь, это было выражение неподвижного спокойствия в лице Мари, которое, как он думал, не могло отражать того, что должно было происходить в ее душе. Правда, она не могла еще понять всего значения того, что с ней произошло, и, может быть, некий инстинкт самосохранения предохранял ее от этого; если бы она поняла сразу все, ее еще хрупкое сознание могло бы и не выдержать такого потрясения. Но так или иначе на ее лице было выражение безмятежного покоя, - как будто все было решено раз и навсегда, как будто это решение было именно таким, как нужно, и никаких оснований для волнений не было.

Он говорил с ней за ужином о самых обыденных вещах. Она ему коротко отвечала. Потом сказала, что ей опять хочется спать, и ушла в свою комнату. Пьер остался один. Он начал читать вечернюю газету, которую принес с собой, и никогда содержание известий и статей, которые были в ней напечатаны, не казались ему столь незначительны и неинтересны.

Он сел в кресло и закрыл глаза. До него смутно доносился стихающий в этот час шум улицы. Как многие люди, привыкшие к одиночеству, он думал вслух. Но он давно уже с тех пор, как в его квартире жила Мари, - привык говорить шепотом, чтобы ее не разбудить, если она спала, или не побеспокоить, если она не спала. Он думал об ответственности, которую взял на себя в тот день, когда решил увезти Мари в Париж. Он сидел в кресле и шептал почти беззвучно:

- Если бы психиатр оказался прав и она действительно не вспомнила прошлого, а начала бы жить новой жизнью, и если бы она спросила меня, как надо понимать то или иное, - что мог бы я ей ответить?

Он всегда завидовал тем, кто твердо знал, - или считал, что знает, как надо жить и что надо думать. Таких людей было много. Большинство, с кем он сталкивался в своей жизни, или вообще не ставили себе никаких вопросов, не стараясь понять подлинного смысла того, что видели или чувствовали, или были чужды всяких сомнений и у них были готовые ответы на все. Таким был его отец, который с одинаковой категоричностью судил обо всем, начиная от

скачек и кончая литературой; он всегда знал, в чем ошибается тот или иной министр, когда произносит речь о политическом положении, чего не понял автор той или иной книги, как играет свою роль тот или иной артист и так далее. Такими были и некоторые сослуживцы Пьера, такими были и некоторые его товарищи по лицу, и все они относились к нему с постоянной снисходительностью - надо же знать, милый мой... Но что можно было знать, в чем можно было быть уверенным в этой непонятной, бесконечной сложности мира, который окружал Пьера? Самыми умными считались те, - как это неоднократно замечал Пьер, - которые ко всему относились критически, которые ни во что не верили и объясняли все происходящее личной заинтересованностью и соображениями корыстного порядка. Но это было бы правильно, думал Пьер, только тогда, если бы человеческая жизнь и деятельность неизменно руководились чисто отрицательными побуждениями и если бы не существовало огромного количества людей, которые жили и действовали так или иначе не потому, что могли извлечь из этого личную выгоду, а оттого, что были убеждены в необходимости действовать именно так, чем бы это ни грозило, вплоть до тюрьмы или смерти.

- Но все эти соображения слишком общего порядка, - шептал Пьер. Поставим вопрос иначе. Если Мари будет спрашивать меня о самых важных вещах в жизни, что я должен сказать? Надо выработать какие-то ответы на вопросы, которые она может мне задавать. Надо об этом подумать, надо поговорить с Франсуа. - Уже давно наступила ночь, а Пьер все сидел в кресле, не зажигая света. В квартире была полутьма, так как ставни не были затворены и с улицы доходил свет фонарей. Пьер видел стол, стулья, кресло, буфет, часы, вделанные в мраморный треугольник, те самые часы, которые он знал с детства, как, впрочем, и все остальное, не изменившееся за много лет. Когда он смотрел на обстановку своей квартиры, ему иногда начинало казаться, что жизнь давно остановилась; что когда-то происходило бурное движение, которое прекратилось, застыв раз навсегда в этих стенах и в этой мебели, вневременной и безличной, которая ничем не отличалась от миллионов таких же стульев, таких же буфетов, таких же кресел, стоявших в разных местах с такой же мертвой невыразительностью. Пьер вдруг вспомнил о необыкновенном потрясении, которое он

испытал, когда ему было четырнадцать лет и когда его отец решил, что в воскресенье они всей семьей отправятся в Лувр, в котором Пьер до тех пор никогда не был. Пьер помнил ощущение неловкости, которую он чувствовал, когда надевал свой воскресный костюм, - тугой, непривычный и чем-то тягостный, - праздничный облик его родителей, которые казались ему чужими, потому что на них было платье, в котором он не привык их видеть, длинные коридоры музея, залы, следовавшие за залами, и это огромное количество картин, проходивших перед его глазами первый раз в жизни. Отец ему объяснял - фламандская школа, Возрождение, семнадцатый век французской живописи. Он говорил уверенно, как всегда, но потом Пьер убедился, что его отец знал обо всем этом очень немного и путал имена художников. Когда они вышли из Лувра, перед глазами Пьера продолжало стоять сложнейшее смешение красок и лиц, бесчисленные переливы черного и красного цветов, кардинальские мантии, надменные лица королей, восторженные глаза святых, голые тела женщин, то узкие, то широкие, розовые, белые, смуглые, деревья, море, поля, собаки, мечи, латы, калеки и нищие, безмолвные толпы людей, усы, каски, львы, лошади, путь на Голгофу, солнечный свет и сумерки, стрелы, вонзающиеся в святого Себастьяна, воины, сражения, смерть побежденных, торжество победителей. Пьер никогда не представлял себе этого необыкновенного богатства, этого кладбищенского великолепия музея, где был представлен исчезнувший мир, который нельзя было сравнить ни с чем, что Пьер знал и видел обычно: серые улицы Парижа, люди в пиджаках, женщины в обыкновенных платьях, безличный отблеск желтого электрического света, - мир, в котором погасли краски, потухли глаза, в котором не осталось ни пророков, ни святых, ни этого бурного расцвета жизни во всем ее чудовищном многообразии. Пьер плохо знал историю, еще меньше знал живопись, но это посещение Лувра погрузило его в такую глубокую печаль, какой он никогда до этого не испытывал и причины которой не были ему ясны; в конце концов, это было зрительное впечатление и, казалось бы, ничего больше. Но он увидел то, о чем раньше не имел представления, и после этого ему стало казаться, что он живет в постоянной убогой полутьме скудно освещенного подвала. Он понял это не тогда, когда вернулся домой из Лувра, не тогда, когда ему было четырнадцать лет, а значительно

позже, но это чувство подавленности и жестокого лишения того, на что он имел право, - это смутное и непонятное ощущение он тогда уже чувствовал с необыкновенной силой. Он нередко возвращался потом к этому незабываемому впечатлению от Лувра. Оно постепенно расширялось и переходило в то сложное ощущение, которое сопровождало его всюду и в подлинном происхождении которого он не отдавал себе отчета. Это было почти необъяснимо. Как, казалось бы, зрительное воспоминание об отблеске солнца на каске неизвестного героя, или о неподвижных глазах портрета, написанного в начале шестнадцатого века, или о круглых линиях лошадиного крупа, - каким образом эти впечатления могли привести его к этому ощущению неудовлетворенности своей собственной жизнью, к нелепой мысли о том, что он, Пьер, в силу жестокой несправедливости судьбы был раз навсегда лишен доступа к настоящей, полноценной жизни, а не такой, как та, которая выпала на его долю, - доступа к этому воображаемому великолепию, к этой полноте, к этой силе чувств, к трагедии и торжеству, к тому, ради чего, в сущности, только и стоило жить; доступа, которого ему никто никогда не обещал и никто никогда не мог обещать, потому что в мире не существовало никого, у кого была бы власть и возможность дать и выполнить это обещание. Могло случиться так, что какая-то мировая катастрофа вырвала бы Пьера из той жизни, которую он вел дома и на службе, все изменилось бы, и тогда, быть может, он узнал бы тот новый мир, которого ему так не хватало до сих пор. Но когда эта мировая катастрофа действительно произошла и Пьер попал в действующую армию, то в этой полной перемене его жизни не оказалось ничего такого, ради чего стоило бы чем-либо жертвовать. Когда он вспоминал о войне, он неизменно видел перед собой дороги Франции, солому, на которой спал, и это бесконечное и бессмысленное движение, в котором он участвовал так же, как миллионы других людей, одетых в военную форму. Потом были тяжелые обстрелы, рвущиеся снаряды и бомбы, развалины зданий, хаотическая нелепость, которая угрожала смертью всем, кто попадал в эту полосу огня, и опасности безличной, как судьба, и в которой не было ни противника, ни возможности победы или даже сражения: первого германского солдата Пьер увидел только в Париже, после того, как он был демобилизован и вернулся в свою квартиру. До этого

были бесконечные переходы, ночлеги в деревнях или в полях, сообщения о прорывах, о наступлении танковых соединений, но его часть, попавшая в середину этого сложного движения сотен тысяч вооруженных людей, не участвовала ни в одном бою и не заняла ни одного города. Это были переходы - из одного места в другое, в таком-то часу, в таком-то направлении; иногда везли на поезде, составленном из разных вагонов, преимущественно товарных, но чаще приходилось идти пешком, то под солнцем, то под дождем, и так это продолжалось до того дня, когда стало известно, что их воинская часть окружена и остается только ждать плена, который положит конец этому длительному и бесцельному передвижению, давно потерявшему всякий военный смысл.

Была уже поздняя ночь. Пьер прошел в свою комнату, разделся и лег в постель. Он чувствовал такую глубокую усталость, которой, как ему казалось, он раньше никогда не испытывал. Он сделал усилие, чтобы подумать еще раз о том, о чем он думал весь вечер, но мгновенно заснул.

В первый раз за долгое время в эту ночь Мари, или, вернее, женщина, которую Пьер называл Мари, не могла заснуть - и лежала с открытыми глазами. Она испытывала новое ощущение - чувствительности к тому состоянию, в котором находилась, и ко всему, что было с этим связано. Она чувствовала мягкость постели, движения своего собственного тела, чувствовала, как подымалась и опускалась грудь от ее дыхания. Это было ощущение животного счастья - тепло, спокойствие, шум дождя за окном. И еще одно-то, что недалеко от нее был Пьер, его присутствие, как ей казалось, она чувствовала всегда.

Целый мир - далекий и чужой - возникал перед ней, тот мир, о котором она никогда до сих пор не говорила с Пьером и о котором он спрашивал ее столько раз. - Мари, вы знаете, кто вы? - С недавнего времени она это знала. В течение нескольких дней после того, как она начала выздоравливать, она думала о том, что было раньше в ее жизни, и каждый день ее воспоминания уходили все глубже и глубже в прошлое, сначала бесформенное и отрывочное, потом точно всплывавшее перед ней с неожиданной отчетливостью. Теперь, как ей казалось, она вспомнила почти все. Но то, что предшествовало ее

погружению в многолетнее небытие, история ее собственной жизни, которая обрывалась на том дне, когда в дыму и грохоте бомбардировки она, оставив автомобиль - его мотор отказался работать, - пересекла небольшой лес, вышла на проселочную дорогу, увидела перед собой ослепительный блеск взрыва и потеряла сознание, - все это как будто происходило не с ней, а с кем-то другим. В том, что она вспомнила, не было ничего, что возбуждало бы в ней сожаление или вообще какое-либо чувство. У нее было впечатление, что она смотрит издали, чужими и холодными глазами на то, что все, кто ее знали, назвали бы ее жизнью... Все это было похоже на то, как если бы она решила написать книгу о людях, которых она никогда не знала, которые никогда не существовали, но которых она видела перед собой. Это было похоже на воображаемый мир, чужой, далекий и неубедительный. - Мари, вы знаете, кто вы такая? - Да, конечно. Она знала, что ее звали Анна Дюмон, что ей было двадцать девять лет, что в начале войны она жила в Париже, на улице Монтевидео, была замужем, что ее мужа звали Жак и что в то время, когда она уезжала из Парижа на юг Франции, он был в армии, на фронте. Ее мать умерла, когда Анне было семнадцать лет, и отец умер за год до войны. Что было еще? Знакомые ее мужа, поездки на море и за границу - Мадрид, Барселона, Флоренция, Рим, Венеция. Все это было бесконечно далеко. Но все-таки что-то в этом было, какое-то ощущение неудовлетворенности и неправдоподобности. Что-то было не то, что-то, в чем она не могла отдать себе отчет и чего она не могла вспомнить. Что это могло быть? И почему теперь у нее не оставалось даже отдаленного сожаления об этом исчезнувшем мире, в котором проходила ее жизнь? Может быть, это было последствием того небытия, в котором она провела столько лет и о чем ей говорил Пьер? Может быть, она потеряла теперь способность чувственного воспоминания об этом, как люди теряют зрение или слух?

Она глубоко вздохнула, заложила руки за голову и потянулась всем телом. Ее опять охватило ощущение теплого блаженства. Ее глаза были открыты, ее слух улавливал все звуки, все ее мускулы ей повиновались, и ей казалось, что она никогда не чувствовала жизни своего тела и своего сознания с такой отчетливостью, как теперь. Неужели она была еще совсем недавно больным существом с погасшими глазами, влачившим то животное существование, которое

ей описывал Пьер? Она ничего не помнила об этом. Единственное смутное, но постоянное ощущение, которое тогда было таким же, быть может, как и теперь, с той только разницей, что оно не отражалось в ее омертвевшем сознании, это было ощущение присутствия Пьера. Но почему ее прежняя жизнь казалась ей чужой и ненужной - сейчас в эту глубокую ночь, под шум дождя, в этой теплой постели?

Ей вспомнилось далекое детство, книги, которые она с жадностью читала, - путешествия, подвиги рыцарей и героев, стихи о любви, где говорилось о том, чего она не знала и не понимала, но что, как она это думала позже, она смутно предчувствовала. Когда ей было двенадцать лет, она представляла себе свою собственную жизнь как продолжение того, что она читала, как новое и непрекращающееся путешествие по этому чудесному миру, в котором звучали магические слова о единственной любви. Она никогда не училась ни в какой школе, к ней приходили учителя, преподававшие ей те предметы, знание которых было необходимо, чтобы сдать экзамен на аттестат зрелости. И вот тянулись годы уроков алгебры, тригонометрии, истории, географии, литературы, философии, английского языка, появились новые книги, которые она читала с восторгом, не отрываясь, случайные цитаты, которые она запомнила на всю жизнь - "un archange essuyant son epee dans la nuee" - "if winter comes can spring be far behind?" {"Архангел, шпагой пронзающий мрачную тучу" - "Если приходит зима, неужели весна уж давно миновала?" фр., англ.).}; ее гувернантка, тридцатипятилетняя англичанка с ледяными глазами, с которой она ежедневно ссорилась и которая говорила ей высоким и невыразительным голосом, в присутствии ее матери вечером, желая ей спокойной ночи - God bless you {Да благословит вас Господь (англ.).};

преподаватель немецкого языка, старый и бедный эльзасец с печально повисшими седыми усами, всегда в лоснящемся черном костюме, с очень белым и чистым воротничком, развесистым галстуком, красным лицом и мутными глазами, который неизменно жмурился, как кот, читая нараспев стихи Шиллера, Клейста, Гете; преподаватель алгебры - "ни в чем человеческий ум не достиг такой стройности, как в этой непогрешимой последовательности формул, в этом чудесном смещении цифр, подчиняющемся наиболее

гармоническим законам, созданным усилиями гения"; преподаватель истории, невысокий пожилой корсиканец, искренне любивший одних и не любивший других людей, игравших роль в истории французского государства, ненавидевший Людовика Четырнадцатого - "это невежественное животное" - и питавший слабость к Генриху Четвертому за Нантский эдикт; учитель французской литературы "никто не писал лучше, чем Луиза Лабэ, если говорить о поэзии, никто не писал лучше герцога Сен-Симона, если речь идет о прозе". Луиза Лабэ! Только значительно позже "трагический гений Бодлера", как говорил о нем учитель литературы, произносивший эти слова казенным и неубедительным тоном, каким он сказал бы, например, "высокие стены этого здания", - он не любил Бодлера, но не мог отрицать его достоинств, - трагический гений Бодлера затмил на время лирическую пронзительность Луизы Лабэ.

Шесть лет, шесть долгих лет учения в просторном доме ее родителей, в Провансе, где она провела свою жизнь до отъезда в Париж, куда ее привезли, когда ей было восемнадцать лет. И ее долгие разговоры с отцом, в его кабинете, где пахло кожей диванов и кресел, - с отцом, который, как ей казалось, представлял себе историю мира как смену экономических систем, определявших, по его мнению, всю жизнь человечества (единственный пункт, в котором он, по его словам, был согласен с Марксом, которого не признавал во всем остальном, вплоть до выбора темы его университетской диссертации): - Я всегда считал, что эллинская культура, в частности греческая трагедия, - ты слушаешь меня, Анна? - с ее нелепым многобожием, с ее ходульными и искусственными страстями, результат примитивных, в конце концов рабовладельческих, концепций, заслуживает, конечно, изучения, но не больше, чем что-либо другое, и никак не заслуживает преклонения, и, в сущности, даже история Рима в некотором смысле нам представляется более поучительной, чем история Эллады... Сквозь высокое окно проходил свет, отец сидел за столом, Анна против него, и с тем, что он ей говорил, она никак не могла согласиться. Ей казалось, что он сознательно вычеркивал из жизни, - вернее, из своего понимания жизни, - именно то, что придавало ей ценность и, в частности, огромную силу человеческих чувств, которую он находил недостойной ни внимания, ни даже того изучения, какого, по его мнению, заслуживала все-таки эллинская

культура. Он был высоким человеком, необычайной худобы, почти никогда не расстававшийся со своими бархатными куртками, которые носил дома. Большую часть времени он проводил в своем кабинете, перегруженном множеством научных книг. К литературе, которую так любила его дочь, он относился с неизменным пренебрежением. - Наша задача в том, чтобы свести все существующее к ряду естественных и понятных законов, которые могут быть выражены определенными формулами, законов, в которых эмоциональный момент может играть известную роль, но чисто функциональную, Анна, пойми это, чисто функциональную. Что из этого делает твоя литература? И та же Луиза Лабэ, например? Она испытывает определенное физическое влечение к какому-то человеку, влечение, внушенное ей чрезмерно развитым инстинктом размножения, и оттого, что она это начинает испытывать, весь мир, видишь ли, ей представляется иным, чем до тех пор. И в учебниках литературы это называется лирической поэзией. Мне описывают на сотнях страниц жизнь человека, который проходит мимо всего важного, не замечая этого, и внимание которого сосредоточено на незначительных личных чувствах. Искусство вообще, - ты слушаешь меня, Анна? - это отказ от настоящей жизни, это бесплодные блуждания праздного воображения, кому это нужно, в конце концов? Вот что надо изучать, вот что надо понять, - он показывал ей рукой на свои книжные шкафы, где стояли, все в одинаковых переплетах, толстые книги о структуре общества, о политической экономии, об истории феодализма. Ни с кем в доме и меньше всего со своей женой - он, однако, не говорил о том, что надо изучать, зная, что его не поймут. Как это думала потом Анна, ее отец, которому не удалась его личная жизнь, который не умел ужиться с людьми и не скрывал своего пренебрежительного отношения к ним, объяснявшегося тем, что их не интересовало то, что интересовало его, - ее отец представлял себе всю историю мира как последовательность вполне определенных систем, которые, по его мнению, направляли в соответствующую эпоху развитие человечества. Задача человека заключалась в том, чтобы понять основные принципы этой системы и способствовать их эволюции. Конечно, людей, которые могли выполнить эту задачу, было немного. Остальные - это была статистика: рождаемость, смертность, повышение или понижение жизненного уровня, численность городского населения. - Сколько

вздора было написано о Римской империи, Анна, этому трудно поверить! А между тем история римского могущества и история гибели Рима могут быть изложены в нескольких словах. Это результат действия двух сил, центробежной сначала, центростремительной потом. Центробежная сила-это завоевания, включение в состав империи далеких варварских провинций, это движение, которое вело к расцвету римской мощи. Затем следует некоторый период стабилизации, и потом начинается центростремительное движение, гипертрофия Рима как столицы империи, - и Рим, в конце концов, задыхается и гибнет. Вот тебе история Рима.

Анна отдавала себе отчет в том, что ее отец очень много знал, но все свои знания он стремился включить в рамки определенных теорий, отступления от которых он не допускал. Всю систему его взглядов можно было представить графически - расширение и суживание разных величин, стрелки, определяющие то или иное направление, кривые повышения или понижения и, главное, существование постоянных понятий, похожих на аксиому о том, что прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками. И в этой жестокой геометрической системе не было, конечно, места ни для лирической поэзии, ни для искусства.

Мать Анны, происходившая из аристократического рода, была так же далека от эмоциональной жизни, как ее муж, но по совершенно другим причинам. В отличие от отца Анны, она не строила никаких теорий, но знала всегда, как надо поступать в том или ином случае, точно все должно было подчиняться определенным правилам, раз навсегда установленным при каком-то дворе, центром которого была она, как королева воображаемого государства. О своем муже она говорила: этот бедный Ипполит, - как будто он был ее дальним родственником, которому она из милости позволяла жить в ее доме. Анна потом спрашивала себя с недоумением, что могло быть общего между ее родителями и чем объяснялся их удивительный брак. Они почти не разговаривали между собой, виделись обычно только за столом и прожили в этом ледяном отчуждении друг от друга всю свою жизнь. Анна помнила только один случай, когда ее мать совершенно вышла из себя и кричала высоким голосом, которого Анна не слышала ни до, ни после этого:

- Как вы смеете клеветать, Ипполит! Я никогда не допущу этого в моем доме! Какая возмутительная дерзость! Какая плебейская выходка!

Все это произошло потому, что, когда Анна подходила к столу, отец посмотрел на нее внимательнее, чем обычно, и сказал:

- Я иногда спрашиваю себя, в кого ты вышла такая, Анна, с таким литым телом и такими тяжеловатыми чертами лица, с такими ровными и правильными зубами? В кого? Ни в мать, ни в меня, во всяком случае. Единственное объяснение, я думаю, можно найти в том, что дед твоей матери, будучи болезненным и несколько странным человеком, женился на прачке, простой крестьянке, которая до конца своей жизни так и не научилась читать и писать, но отличалась несокрушимым здоровьем и исключительной физической силой, такой, что когда она дала пощечину брату своего мужа, который слишком явно выражал ей ненужные чувства, то он упал без сознания и его чуть ли не замертво выволокли из гостиной, где это произошло. Ты ее достойная правнучка, наследственность иногда действует через несколько поколений.

И вот после этих слов мать Анны встала из-за стола и начала кричать.

- То, что я говорю, - спокойно сказал отец, - это вовсе не клевета, это именно так и было, и я не вижу в этом ничего дурного. Если бы вы имели представление хотя бы об истории Франции, то есть вашей собственной родины, то вы бы знали, что вторжение плебейского начала в так называемую аристократию, - понятие, кстати говоря, чрезвычайно расплывчатое и условное, - явление довольно частое и отнюдь не отрицательное. Ваша бабушка с отцовской стороны была крестьянкой, но она была женщиной, достойной уважения, чего я не мог бы сказать о вашей бабушке с материнской стороны, которая была княгиней, но поведение которой всю жизнь вызывало бесконечные скандалы.

После этого Анна никогда больше не видела своей матери за столом, ей подавали обед в ее комнату, ту самую, где однажды утром ее нашли мертвой она заснула и не проснулась, и это было похоже на то, как если бы день ее спора с отцом о клевете на бабушку был последним днем ее жизни, непонятным образом затянувшимся на

целый год: она умерла ровно через двенадцать месяцев после этого спора.

У ее матери не было ни той культуры, ни тех знаний, какие были у отца, но ее представление о мире было не менее определенным. Главную и, в сущности, единственную роль в этом представлении играл вопрос о происхождении человека, то есть о большей или меньшей степени его принадлежности к той касте, представительницей которой она себя считала, аристократии. Ее собственная аристократическая кровь, однако, - как это объяснил Анне отец во время одного из разговоров с ней (впрочем, это было трудно назвать разговорами, это были, в сущности, его бесконечные монологи, которые заменяли ему книги, которые он мог бы написать, но которых не написал, так как Анна заменяла ему ту аудиторию, которую он хотел бы иметь, но которой у него не было). - Как это объяснил ей ее отец, эта аристократическая кровь ее матери представлялась ему несколько разбавленной, так как, помимо одной из ее бабушек, которая была крестьянкой, в истории рода ее матери фигурировал, правда в течение короткого времени, еврей-банкир, от которого у другой ее бабушки, княгини, был сын, носивший, однако, фамилию не своего отца, а мужа своей матери, что не мешало ему быть наполовину евреем. В этом отец Анны опять-таки не видел ничего плохого, но в существование банкира ее мать не могла и не должна была верить. С матерью у Анны было мало общего. Много позже, уже будучи замужем, Анна поняла, что если бы ее мать не считала, что ее принадлежность к аристократии сама по себе заменяет ей все остальное - душевные качества, ум, знания, талант, - то у нее решительно ничего не осталось бы. Она никогда не отличалась ни красотой, ни умом, ни пониманием. То, что она говорила, всегда было до удивительности незначительно, так же, как все ее существование. Когда Анна была маленькой и подходила к матери, чтобы положить ей голову на колени, мать неизменно отстраняла ее и говорила: уберите этого ребенка, он мне мешает. Отец Анны никогда этого не делал и нередко играл с ней, в нарушение всех своих теорий о чисто функциональной ценности эмоционального мира. Именно он занимался ее образованием и выбирал учителей, производя каждому из них соответствующий экзамен. - Скажите мне, мой друг, что вы думаете о книге, которая недавно, совершенно случайно, попала в мои

руки и о которой я не успел составить себе представления, так как прочел всего несколько страниц? - это мог быть Шопенгауэр или Бергсон, если речь шла о философии, Пруст или Фроментен, если вопрос касался литературы, Пуанкаре, если это была математика. У матери Анны была какая-то непреодолимая враждебность ко всему, что называлось общим словом "культура", - исключение составлял английский язык, но, как это заметил отец Анны, совсем не потому, что на этом языке писал Шекспир, а оттого, что дед Анны в свое время прожил несколько лет в Англии, оправдав таким образом в представлении матери Анны право на существование английского языка.

Анна думала обо всем этом теперь, в эту ночь, когда она не спала. В эти часы она отчетливо вспомнила почти все, вплоть до того оцепенения, из которого она никак не могла выйти, до туманного небытия, из которого до нее впервые дошли слова Пьера, вернее, даже не значение этих слов, а их вопросительная интонация, это звуковое колебание его голоса, давшее ей смутное представление о том, что она существует. Но только после своей долгой болезни, во время которой ее возвращение к жизни странным образом проявлялось в ощущении того, что она умирает, что она задыхается, что она не может перенести этой страшной боли в голове, только после своей болезни, она очень ясно помнила это, - ей показалось, что где-то вдали начало происходить сложное движение, которое постепенно, с медленной неудержимостью приближалось к ней в неуловимых формах и сразу в нескольких направлениях, и по мере этого приближения все стало проясняться вплоть до той незабываемой минуты, когда она увидела стены этой незнакомой комнаты, погруженной в полутьму, так как ставни окон были закрыты, когда к ней вошел Пьер, сказавший ей эти слова: - Вы пришли в себя, Мари? Слава Богу... - и она узнала и этот голос, и эту интонацию. Это был самый важный день ее жизни. Это была ее последняя мысль в эту ночь - через секунду она закрыла глаза и заснула.

х х х

На следующий день, когда Пьер ушел и она осталась одна, она не переставала думать о том, что ей накануне так долго мешало заснуть. Чем объяснялось то чувство, которое она испытывала теперь, - и которое, как ей казалось, она знала всегда, - это чувство

неудовлетворенности, эта неубедительность того мира, из которого она была вырвана в его последний день, который она помнила в дыме и огне этой апокалиптической бомбардировки? Почему она чувствовала себя в нем чужой? В конце концов, это действительно было похоже на конец света, когда небо скрылось, свившись, как свиток, откуда эти слова? Она сделала усилие и вспомнила, что это из Откровения святого Иоанна, о котором отец Симон, аббат, один из ее учителей, говорил ей, что его не следует принимать буквально, так как, - вы понимаете, дитя мое, вдохновение святого Иоанна, создавшее эту несравненную по своей силе картину гибели мира, порой начинало переходить за пределы той чисто христианской концепции, которая ему внушила его труд, и свои собственные слова, вызванные его священным гневом, он вкладывал в уста Спасителя, невольно искажая Его божественный облик и забывая, что Спаситель не мог сказать этих слов: "Я люблю тебя за то, что ты ненавидишь учение николаитов, которое и Я ненавижу". Подлинный христианин, дитя мое... - Каждый раз, когда Анна думала потом об отце Симоне, она будто вновь слышала шуршание его рясы, сшитой из какой-то очень тугой материи, и от этого все, что относилось к религии, со времен раннего ее детства, невольно было связано в ее представлении с этим шуршанием, похожим на звук едва слышного полета ангелов, как бы взвивавшихся в воздух, когда отец Симон произносил свои первые слова - Отче наш...

- Подлинный христианин, дитя мое, может быть, увы! увы! предметом ненависти, но сам он не может ненавидеть никого, и в том числе николаитов, которые, в конце концов, были виноваты только в том, что они заблуждались. Дитя мое, я неоднократно замечал, - у отца Симоиа был глубокий и низкий голос, - что в вашем поэтическом представлении величие христианства приобретает несколько своеобразный характер, - он поднимал при этом руку вверх. - Я не хочу сказать, что в этом есть что-нибудь отрицательное, но это не совсем то. Христианство, дитя мое, это не только мягкий свет Гефсиманского сада, сумерки, спускающиеся на Голгофу, видения Апокалипсиса, трубы архангелов, то есть все то, к восприятию чего так чувствительна ваша романтическая натура. Это не только Тициан, не только Сикстинская капелла и Микеланджело, как бы гениально все это ни было. Христианство-это победа над чувственным миром,

победа духа над материей, победа идеи бессмертия над всем тем, что люди так склонны ценить на нашей бедной земле и что есть только прах, дитя мое, только прах. - Анна вспомнила надгробную речь, которую отец Симон произнес, когда хоронили ее мать, и которая по своей торжественности была похожа на речи Боссюэ: - Господи, прими ее душу, которую Ты создал бессмертной в те дни несравненной Твоей славы, когда в грохоте рождающегося мира Ты сотворил все, что существует. Теперь эта душа покидает землю, чтобы войти в царство небесное. Господи, дай ей силы перенести нестерпимое сияние Твоей славы. - В церкви было прохладно в этот жаркий день, в безоблачном небе летали ласточки, горячий воздух дрожал над раскаленной землей.

"Эмоциональная жизнь имеет только чисто функциональную ценность", "Христианство-это победа над чувственным миром". Анна не могла спорить ни с своим отцом, ни с аббатом, объяснявшим ей смысл Откровения святого Иоанна. Каждый из них без труда доказал бы ей, что это именно так, как он говорит. С одной стороны, это было отрицание искусства, с другой - проповедь аскетизма, и, в конце концов, может быть, действительно надо было примириться с этой неизбежностью осуждения всего, что так влекло ее к себе? Но она не могла этого сделать. Ее отец, впрочем, отдавал себе в этом отчет, особенно в последние годы, когда он смотрел на свою дочь, на ее тяжелые губы и глубокие глаза, - нет, Анна была не похожа ни на него, ни на свою мать, и то, что ему, ее отцу, в лирической поэзии казалось не заслуживающим внимания, для нее было насыщено смыслом. Когда ей было четырнадцать лет, она уже ощущала в себе ту душевную тревогу, то предчувствие чего-то чрезвычайно важного и значительного, то физическое томление, которое только усиливалось по мере того, как она становилась старше. Когда отец привез ее в Париж, где она поступила в университет, она через несколько месяцев познакомилась с Жаком, своим будущим мужем, сыном одного из товарищей ее отца, владельца нескольких предприятий. Жак был инженер по образованию и помощник директора завода, хотя ему было всего двадцать восемь лет. Впрочем, на вид ему было больше, он начал уже полнеть и лысеть. Анна впервые увидела его в церкви и не обратила на него особенного внимания, но запомнила его лицо, необыкновенно серьезное и важное, такое, словно он один понимал

всю торжественность богослужения, в котором он безмолвно принимал участие, так, как будто его присутствие в церкви было не менее необходимо, чем присутствие священника, - и она сразу узнала его, когда через несколько дней после этого он пришел к ее отцу с визитом. Это был первый человек ее круга, - как сказала бы ее мать, который был старше ее только на десять лет. Он приносил ей цветы, иногда они ездили в театр, иногда на автомобиле Жака в загородный ресторан. Это продолжалось несколько месяцев, и за все это время Жак не позволил себе ни одного слова и ни одного движения, которые могли бы быть поняты как выражение его чувств к Анне. Она краснела каждый раз, когда ее рука касалась его руки, но Жак, казалось, этого не замечал или не хотел замечать. Он много говорил о христианском долге, о том, чем человечество обязано церкви, о том, что назначение человека на земле - для тех, кто не живет в заблуждении и химерах, для тех, кто знает, что жизненный путь начертан божественным промыслом, - это семья и выполнение христианских обязанностей. Она едва слушала его, ей казалось, что если она станет его женой, то в их душевной и физической близости исчезнут все теории, все, что в конце концов несущественно, и останется только единственное, неповторимое чувство, которого она ждала уже несколько лет со все возрастающим волнением. Когда Жак сделал ей предложение, сказав, что перед этим он уже говорил с ее отцом, который отнесся к нему благожелательно, за что Жак ему благодарен, - Анна слушала его, глядя на него в упор своими глубокими глазами и ожидая той минуты, когда он решится ее поцеловать, - и вот теперь он спрашивает себя, может ли он, имеет ли он право рассчитывать на то, что Анна, в свою очередь...

- Но разве вы не заметили, - нетерпеливо сказала она, - что я давно вас люблю?

Самыми печальными днями и неделями в жизни Анны были дни и недели ее медового месяца и свадебного путешествия по Италии. Оставаясь одна в комнате гостиницы, она плакала иногда часами, потому что все ожидания были жестоко обмануты. То, что происходило, не имело ничего общего с тем, что она себе представляла и чего она хотела. Физическая близость с Жаком вызывала у нее раздражение и оставляла ее неудовлетворенной, - и когда Жак ей как-то еще раз сказал, что долг каждого мужчины и долг

каждой женщины - это иметь очаг и семью, она посмотрела на него с гневным выражением в глазах и ответила, Боже мой, нельзя ли, в конце концов, немного меньше думать о долге и немного больше о чувстве, о любви? - Но сознание исполненного долга, Анна, - что может дать большее удовлетворение? Подумайте об этом. - Нужно по крайней мере, чтобы это исполнение долга хотя бы доставляло вам удовольствие, черт возьми! - Анна, как вы можете так говорить? Я вас не узнаю. - Вы ничего не понимаете, Жак, - сказала она, - и я думаю, что вы, к сожалению, неизлечимы.

Но это раздражение и эта неудовлетворенность еще не были самым печальным в тот период жизни Анны. Самым печальным было другое. Она очень скоро поняла, что в жизни Жака она занимает далеко не главное место. Она понимала также, что это объяснялось не ее недостатками или тем, что чувство Жака к ней не такое, каким оно могло бы быть, если бы на ее месте была бы другая женщина; Жак вообще был меньше всего создан для любви, и когда Анна, без его ведома, отправилась однажды к известному врачу, чтобы спросить у него совета - как сделать свою супружескую жизнь несколько более терпимой, он задал ей много вопросов, на которые она отвечала, краснея, и после этого он ей объяснил, что, по его мнению, она не может рассчитывать со стороны ее мужа на то, чего так требует ее природа. - Я не говорю даже о чисто физических недостатках вашего мужа, - сказал доктор, - но насколько я понимаю, из того, что вы мне сказали, следует сделать один бесспорный вывод: отношение к вам вашего мужа определяется в равной степени и его, так сказать, несовершенством анатомическими порядками всей его психологией, его душевной структурой. Еще через некоторое время, когда Анна лежала в своей комнате с сильной головной болью, Жак вошел к ней, очень забеспокоился и сказал, что он остался бы дома, если бы сегодня вечером, именно сегодня вечером, ему не предстоял ужин, на котором он должен встретить одного депутата парламента, влияние которого в дальнейшем может оказаться чрезвычайно важным, в какой-то степени даже решающим в том деле... Оставьте меня в покое, - сказала Анна, - и можете идти куда хотите. - Это был первый месяц ее беременности.

Жак не мог не понимать, насколько неудачен был его брак, и не только потому, что между ним и его женой не было ничего общего. Но

он считал, что брак вообще нерасторжим и надо сделать все, чтобы объяснить Анне, насколько ее представление о любви, одновременно чувственное и возвышенное, насколько оно ошибочно и не соответствует тому, каким оно должно быть. Но когда он однажды заговорил с ней об этом, глядя через свои очки - он был очень близорук - на ее подурневшее лицо - шел седьмой месяц беременности, - она сказала ему с явной враждебностью в голосе: - Только, ради Бога, не говорите мне о долге, о христианстве или о теологических трактатах, подумайте о том, что иногда это просто неуместно: если вы лежите с женщиной в постели и заняты в это время соображениями о христианском долге, то глупее и непристойнее этого ничего быть не может, вы плохой проповедник и никуда не годный муж. - Но даже это не вывело из себя Жака, который вздохнул и сказал: - Анна, вы рано или поздно поймете, насколько прав я и насколько не правы вы. - Вероятно, - резко ответила она, - когда я перестану быть женщиной.

Вскоре после этого у нее были преждевременные роды. Ребенок родился мертвым, Анна долго была больна, и, когда все это кончилось и она почувствовала, что здоровье вновь возвращается к ней, она поняла, что никакая сила в мире не заставит ее теперь изменить свое отношение к Жаку. Это было чувство и враждебности, и презрения, и жалости к нему. Он, казалось, ничего этого не замечал и продолжал быть таким же, как и раньше, внимательным, неизменно вежливым и всегда готовым дать Анне самые пространные объяснения, которые никогда ей не были нужны.

За то время, которое Анна прожила со своим мужем, у нее было несколько любовников, но каждый раз, через очень короткое время, это кончалось разрывом, слезами и припадком глубокой печали. Сначала Анна думала, что какой-то ее собственный недостаток, душевный и физический одновременно, лишает ее возможности испытать то чувство ослепительного, всеобъемлющего счастья, которого она ждала долгие годы, еще с того времени, когда девочкой смутно о нем мечтала. Потом она пришла к убеждению, что случайное определение ее понимания любви Жаком, не отдававшим, быть может, себе отчета в значении своих слов, но сказавшим, что это понимание слишком чувственное и слишком возвышенное, было совершенно правильно и что все ее предрасполагало именно к такой любви: ее темперамент, ее

романтические представления, ее готовность отдать все тому, кто испытает по отношению к ней чувство, которое будет таким же, как то, которое способна испытать она. Но она не встретила ничего похожего на это - особенно в том, что для нее было важнее всего, неудержимое движение к ней чьей-то души, не знающее никаких препятствий. Потом она почти потеряла надежду, что это может когда-нибудь произойти, и решила, что надо найти в себе силы примириться с этим и искать смысл своего существования в чем-то другом, а не в нелепой и детской, в конце концов, романтике, ценность которой так упорно отрицал ее отец. Это совпало по времени с тяжелой болезнью отца, и диагноз этой болезни не оставлял никаких надежд на выздоровление: у него был рак легких. Через месяц он умер. Это был единственный человек в жизни Анны, к которому у нее было постоянное теплое чувство и который тоже ее искренно любил, несмотря на свои теории, признававшие только все ту же злополучную функциональную ценность эмоционального мира. В день его смерти, глядя на его мертвое, неподвижное лицо и не удерживая слез, Анна почувствовала, что теперь она осталась совершенно одна.

Это было за год до начала войны, и весь этот год Анна провела в состоянии глубокой душевной подавленности. Она перестала заботиться о своей внешности, отказывалась сопровождать Жака куда бы то ни было, не выходила по целым дням из своей комнаты и долгими часами лежала без движения, глядя в белый, невыразительный потолок. Жак старался ей помочь и вывести ее из этого состояния, но она не разговаривала с ним, и единственные слова, которые она произносила, были всегда одни и те же - оставьте меня в покое. Она говорила это даже без раздражения, которое он так хорошо знал, и он дорого дал бы за то, чтобы к ней вернулась возможность раздражаться. Он оставил ее в этом состоянии, когда была объявлена война, и уехал в армию. Потянулись долгие месяцы, когда она оставалась одна в своей парижской квартире и не отвечала ни на письма, ни на приглашения, ни на телефонные звонки. Потом наступил наконец июль тысяча девятьсот сорокового года. Германская армия приближалась к Парижу, над городом стоял черный дым. И тогда, однажды утром, Анна вышла из дому с одним чемоданом, вывела из гаража автомобиль Жака и решила ехать к себе, в Прованс,

где давно уже стоял пустым дом ее родителей и только в небольшом флигеле, в саду, жил по-прежнему сторож Максим, молчаливый и суровый старик, которого всюду сопровождал его огромный черный дог, такой же мрачный, как и его хозяин. Но она не доехала до Прованса...

Она услышала, как в двери щелкнул ключ. Потом Пьер появился на пороге комнаты. Поднявшись с кресла, с неудержимой, широкой улыбкой, открывавшей ее ровные белые зубы, она сказала - Пьер никогда потом не мог забыть этого выражения ее голоса:

- Я рада вас видеть, Пьер.

Каждый раз, когда Анна оставалась одна, она думала о множестве вопросов, встававших перед ней, - которые нужно было разрешить. Самый трудный из них был тот, на который она до сих пор не ответила Пьеру: - Мари, вы знаете, кто вы такая? Как именно надо было сказать ему, что раньше ее звали Анной Дюмон, что у нее было известное положение, квартира в Париже, дом в Провансе, муж и знакомые, но что при всех обстоятельствах в тот мир, который перестал существовать - в день этой бомбардировки летом сорокового года, - она не могла вернуться, потому что и ее душа, и ее сознание были против этого? Это возвращение было невозможно, об этом не могло быть даже речи. Ее, вероятно, давно считали погибшей - неизвестно как и неизвестно где; во всяком случае, в течение долгих лет никто о ней ничего не знал. Может быть, это было к лучшему? Потому что, - она ясно отдавала себе в этом отчет, - той Анны Дюмон, которая пропала без вести летом сорокового года, больше не было и именно этот июньский день надо было считать датой ее смерти, о которой она не жалела. Она еще раз подумала о том, что предшествовало этому. За все время своей жизни, с тех пор как она помнила себя, был только один человек, к которому она была искренно привязана и которого она любила, - ее отец. Но его давно нет в живых. Ей было теперь двадцать девять лет. Из них последние пять лет были годами того непонятного и смертельного небытия, про которое теперь она знала все, вплоть до тех подробностей, о которых ничего не говорил Пьер, но о которых она догадывалась. А теперь нужно было жить, - но как? Теоретически все было просто: сказать Пьеру, кто она такая, сказать, что она бесконечно благодарна ему за то, что он для нее сделал, - то есть

вернул ее к жизни, - узнать, где Жак, и уехать на свою парижскую квартиру. Этого она сделать не могла, - она даже улыбнулась, думая об этом. Теоретически было ясно и другое: теперь она была здорова, ей больше не угрожала никакая опасность, и все эти дни она чувствовала, как к ней возвращаются силы, значит - теоретически, - Пьеру незачем было заботиться о ней, и, значит - теоретически, - ее пребывание здесь потеряло свой смысл. Она еще раз обошла все комнаты, глядя новыми глазами на то, что ее окружало, - портреты отца и матери Пьера, несколько репродукций, буфет, столы, стулья, кресла, диваны, - все это содержалось в необыкновенной чистоте. Пьер каждый день, до ухода на службу, убирал всю квартиру. Это было похоже на меблированные комнаты и резко отличалось и от ее собственной парижской квартиры, и от ее дома в Провансе. Она посмотрела на книжные полки - энциклопедический словарь в шести томах, изданный в начале столетия, классики, несколько новых романов, Шекспир, Толстой, Сервантес, Достоевский во французском переводе, Платон, Овидий, Плутарх, монографии о Рембрандте, Ван Гоге, Боттичелли, Руссо, учебники - алгебры, истории французской литературы, те самые, по которым она училась. Теоретически...

Она остановилась и прислушалась. Она всегда ощущала, неизвестно как, животным и безошибочным чувством, приближение Пьера. Через минуту он вошел в квартиру, и это прервало ее мысли. И когда она увидела его, она поняла с отчетливостью, не допускавшей сомнений, что слово "теоретически", которое она повторяла столько раз, не имело и не могло иметь никакого смысла.

х х х

Она часто думала о том, что если бы на месте Пьера был какой-то другой человек, все трудные вопросы могли бы быть разрешены и их разрешение было бы тем более необходимо, потому что фальшивое и странное положение, в котором она была, становилось просто невыносимо. Но ей никогда и ни с кем не было так легко, как с Пьером. Его постоянное присутствие ничем и никогда не стесняло ее, и она не могла себе представить, что Пьер вдруг ушел бы из ее жизни. Ей казалось, что Пьер был не похож ни на кого из тех людей, которых она знала. То, что она ощущала в его присутствии, - это его неизменную доброжелательность и его немую готовность поддержать ее во всем, - то, чего она никогда не испытывала раньше и что ей

казалось самым ценным, что может быть. Она понимала, что потерять это было бы для нее непоправимым несчастьем, и потому она все не решалась сказать Пьеру, что она знает теперь свою прошлую жизнь. Он больше не спрашивал ее об этом - и ей иногда казалось, что она понимает почему.

Однажды после ужина она сказала ему:

- Пьер, вы знаете что? Вы, может быть, правы, может быть, действительно меня зовут Мари.

Он быстро взглянул на нее. В ее улыбающихся глазах он заметил теплый перелив выражения, которого он раньше не видел. Она села глубже в кресло. Пьер смотрел на ее туго натянутые чулки и черные туфли и вдруг вспомнил летний день, дождь и ее босые ноги, увязшие в глине.

- Вы знаете, - продолжала она, - я много думала все эти дни и многое вспомнила. Но я боюсь, что я не сумею вам рассказать это так, как было бы нужно. И я решила, что, может быть, лучше, если я постараюсь все это написать. Что вы скажете об этом?

- По-моему, это прекрасная идея, - сказал он. - Я буду с интересом ждать, когда вы это кончите, и обещаю вам быть внимательным читателем.

Кроме того ощущения, что она выздоровела после очень долгой и тяжелой болезни, Анна впервые чувствовала теперь, насколько жизнь может быть спокойной и счастливой - она не находила других слов. Когда Пьера не было, она выходила на улицу и гуляла целыми часами в этом районе Парижа, которого раньше совершенно не знала. Потом она возвращалась, садилась за стол и начинала писать. Незаметно для нее самой страницы шли за страницами, и перед ней возникали сначала зрительные ее воспоминания - красная земля Прованса, неподвижные пальмы, тугая листва кустарников, железный узор ворот ее дома, каменные арки его фасада и его особенный желтовато-красный цвет, темневший после захода солнца, высокое безоблачное небо, кипарисы в саду, дрожание листьев, когда дул мистраль, далекие звезды вечером. Потом комната, где она писала, наполнялась звуками - покашливание ее отца, прерывающаяся мелодия рояля, на котором играла мать этюды и ее собственные импровизации, вдруг вливавшиеся в исполнение ноктюрна или "сада под дождем" - с преобладанием минорных нот, последовательность которых

напоминала пронзительную рояльную жалобу неизвестно на что, - и после этого импровизация прекращалась и снова начиналось долгое гармоническое повествование, звуковая проекция какой-то блистательной и до конца рассказанной жизни, в которую Анна вкладывала свой собственный смысл, где были стихи, воспоминания, предчувствия, надежды, далекое лирическое движение, уход, возвращение, отражения пейзажей, отказ, согласие, ответ на все вопросы, - Анна сидела на скамейке, в саду, в том его месте, куда выходило окно комнаты, где стоял рояль, и слушала то, что ей казалось музыкальным рассказом о ней самой. Было слышно стрекотание цикад, хлопанье крыльев голубя, взлетевшего в воздух, крик ночной птицы, далекий звон колокола из деревни, находившейся в двух километрах от их дома, слышался иногда легкий треск туго пригнанных половиц паркета, когда в вечерней тишине кто-нибудь проходил через комнаты, хруст гравия в саду, звуковой след, по которому можно было знать, в каком направлении шел ее отец, совершавший одинокие прогулки в поздний час, когда Анна лежала в постели и в ее комнате было отворено окно и когда она не могла заснуть от смутного и непонятного волнения о том, что она слышала в звуках рояля, в стихах, в далеких замирающих переливах колокольного звона.

Потом возвращался Пьер. - Как вам пишется. Мари? - Я скоро кончу первую часть. - Они ужинали, после ужина Пьер убирал со стола. Анна садилась в кресло, и когда он, вымыв посуду, входил в комнату, она говорила ему:

- Расскажите мне о вашей матери, Пьер. Вы мне уже говорили о ней, но я как-то не составила себе точного представления обо всем этом. Вы говорили, что главная ее особенность была в примиренности со своей участью?

- Вы знаете. Мари, мне иногда кажется, что почти в каждой человеческой жизни есть какая-то неизбежная ошибка. Ну, не в каждой, конечно, но во многих. У такого-то человека, скажем, жизнь должна была бы быть такой, а выходит, что она другая. У меня есть призвание быть врачом. Но обстоятельства сложились так, что я архитектор. Или наоборот. Теперь, когда я думаю о моей матери и ее жизни, мне кажется, что в ней всегда было что-то теплое и уютное, что только она могла дать своей семье. У нее был неисчерпаемый

запас мягкости, вы понимаете? Она была простая женщина, и я думаю, никогда ни одна отвлеченная мысль не приходила ей в голову. Она не рассуждала и не думала, но у нее была - как бы это сказать? - неутомимая душа. Она была очень достойная женщина, и все, в конце концов, в ее жизни было незаслуженно жестоко и несправедливо - эта бедность, безвыходность, отношение к ней моего отца, который не был плохим человеком, но не был способен дать ей то, на что она имела право. Потом его смерть, потом эта глупейшая война и, наконец, ее болезнь, с которой она могла бы жить еще долгие годы.

Пьер много рассказывал Анне о своей жизни, об истории своей семьи, и через некоторое время она знала о нем столько, сколько узнала бы, если бы прожила рядом с ним много лет. Та жизнь, которую вела раньше она, вели ее родители и их знакомые, не имела ничего общего с той, о которой ей говорил Пьер. Она представляла себе, что сказал бы об этом ее отец - "статистика". До ее матери это вообще не дошло бы: в узком кругу тех нелепых понятий, которые определяли ее существование, просто не было места для того, о чем рассказывал Пьер. Вспоминая все, что он говорил, она думала, что в этом никакой роли не играло то, что в другой жизни, в той, какую она знала раньше, имело важное значение: соображения денежного характера, вопрос о положении - общественном, служебном, дела, которых здесь вообще не было, наконец, брак, приданое, пристрастие к крупной игре, разорительные увлечения - сколько раз она слышала эти слова: и подумать, что из-за нее он едва не погубил всю свою карьеру... и подумать, что она, забыв обо всем, позволила себе... Не было также и другого - семейных традиций, кастовых предрассудков, своеобразной социальной философии, таких понятий, как "ущемление тех законных прав, которые дает происхождение", - слова матери Анны, "невежественная буржуазия" - определение ее отца - или "недопустимые требования рабочих, которым нечего было бы есть, если бы я, владелец предприятия, не дал бы им возможность такого существования, о каком их родители не могли и мечтать", - как это говорил ее отцу один из его знакомых, и отец ему ответил - в конце концов, вашим положением вы обязаны случайности, но даже если бы это было результатом ваших собственных усилий, то вы не правы вдвойне: во-первых, с точки зрения социальной справедливости, потому что каждый из ваших рабочих имеет моральное право жить

так же, как вы, и с другой точки зрения, с которой вы не можете не согласиться, так как вы лишены этой возможности, независимо от ваших взглядов и намерений, точки зрения соотношения сил в современном обществе: в столкновении рабочих профсоюзов с собственниками предприятий; рабочие профсоюзы сильнее вас, и вы вынуждены делать не то, что вы хотите, а то, что хотят они. Я говорю это не как представитель того или иного класса, а как человек, который имеет известное понятие о структуре современного общества, той, которой совершенно не предвидел, например, Маркс.

Пьер принадлежал к другому миру, о котором Анна до сих пор не имела представления и только знала, что он существует. Но то, что ее больше всего удивляло в Пьере, это его превратное, как ей казалось, мнение о самом себе: он был твердо убежден, что он решительно ничем не отличался от других людей и что кто угодно в его положении действовал бы именно так, как он, и не мог бы действовать иначе.

Анна никогда не знала того состояния полного душевного покоя, в котором она жила теперь. Ей иногда начинало казаться, что именно в этом и была цель ее существования - в том, что после всех испытаний, которые выпали на ее долю, она очутилась бы в этой скромной квартире, далеко от того района города, где она жила с Жаком, и чтобы она проводила спокойные, медленные и счастливые дни в ожидании возвращения со службы Пьера Форэ, старшего бухгалтера какого-то незначительного предприятия. И что, кроме того, явно фальшивое ее положение здесь, так как она не была ни женой, ни любовницей, ни даже отдаленной родственницей этого человека, ее совершенно не тяготило, как оно не тяготило и Пьера,

- Ты думаешь, что это может продолжаться бесконечно? - спросил его как-то Франсуа.

- Я был бы счастлив, если бы это было так, - сказал Пьер. - Но это слишком замечательно, и вряд ли это может быть длительным.

- Не знаю, - сказал Франсуа. - До последнего времени я в чудеса не верил. Но после того, что произошло с Мари...

И эта жизнь продолжалась, жизнь, которая каждому, как это думал Пьер и как это думала Анна, показалась бы странной и даже просто неправдоподобной, но которая была лишена какой бы то ни было искусственности и в которой не только не было ничего

тягостного или неловкого ни для него, ни для нее, но от которой ни он, ни она никогда не отказались бы. Утром Пьер вставал рано, убирал квартиру, брился, принимал ванну, одевался, и когда он шел на кухню, чтобы приготовить кофе, он слышал, как отворялась дверь комнаты Анны, слышал ее шаги, потом шум воды в ванной. И когда он входил в столовую, Анна уже ждала его там, со своей всегдашней теплой улыбкой, к которой он не мог привыкнуть и от которой он каждый раз испытывал волнение. Потом он уходил на службу, и она оставалась одна. Она выходила на улицу, - с недавнего времени она стала покупать провизию, - затем возвращалась домой и садилась писать. Она писала медленно, часто останавливаясь и глядя прямо перед собой в белую стену, которая вдруг смещалась, и там, где она только что была, возникали железные ворота, за которыми открывалась аллея, ведущая к подъезду дома. В треске гравия и ярком солнечном свете из далекого пространства начинал медленно приближаться тот мир, в котором прошли детство и первые годы ее молодости. Она старалась удержать эти видения, они исчезали и появлялись опять, то расплываясь, то снова возникая с необыкновенной отчетливостью и скрываясь потом в густой листве сада или темнея в наступающих сумерках. И там, где только что дрожали на ветру бесчисленные листья, не было больше ничего, кроме отдельных переливов колокольного звона или звуков рояля, почти безмолвных, как зрительное воспоминание, и Анна повторяла их вслух, чтобы вернуть им жизнь, и только тогда рояльная мелодия вдруг расцветала перед ней, неувядаемая и непогрешимая в своей последовательности раз навсегда.

Наконец однажды вечером после ужина Анна сказала:

- Пьер, я кончила сегодня днем первую часть того, что я хотела написать. Я старалась постепенно вспомнить все, что было когда-то началом моей жизни. - И она протянула ему большую тетрадь, которую он ей купил после того, как она сказала ему, что хотела бы записать свои воспоминания.

- Вы много раз спрашивали меня, кто я такая, - сказала она изменившимся голосом. - Я не могла тогда вам ответить, но не потому, что я не хотела, я не могла, действительно не могла. Теперь я написала об этом, я знаю, что так я не сумела бы вам рассказать.

Может быть, это плохо написано, но это все равно, Пьер. Во всяком случае, я писала это для вас.

- Мари...

- Меня звали Анной, Пьер, - сказала она. - Но теперь мне иногда кажется, что мое настоящее имя - это то, которое вы произносите.

Она поднялась со своего кресла. Пьер спросил:

- Вы уходите к себе?

- Сегодня, первый раз за все время, - сказала она, - я хочу быть одна.

Он с тревогой смотрел в ее лицо. Оно было неподвижно, и ее широко раскрытые глаза пристально глядели на него. Он опустил голову. Но через несколько секунд она сказала:

- Я буду одна, Пьер. Но я буду знать, что вы недалеко от меня.

х х х

"Я не знаю, кто я. Я знаю свое имя и свою фамилию, я знаю, сколько мне лет и где я родилась, но я знаю не менее твердо, что это ничего не определяет. Я знаю, что я такая, какой я себя вижу и ощущаю, я живу и существую только с недавнего времени, и об этом у меня почти нет воспоминаний. То, что предшествует во времени моей теперешней жизни, мне кажется бесконечно далеким. У меня такое впечатление, что я вспоминаю чью-то чужую жизнь, которая кончилась несколько лет тому назад. И эта чужая жизнь, медленно возникающая в моей памяти, начинается, - как это представляется мне сквозь неизмеримую даль, которую мне никогда больше не суждено пересечь, - начинается с того, что я вижу перед собой в свете яркого солнечного дня сложное сплетение железных прутьев на воротах, вделанных в каменную стену, окружавшую сад, в глубине которого стоит дом, где я родилась, в Провансе, на юге Франции".

Так начиналась первая страница тетради, которую Анна дала Пьеру и которую он читал до трех часов утра.

То, что поразило его больше всего, это свежесть повествования, какая-то особенная непосредственность восприятия Анной всего, что она описывала, - и сквозь этот медленный словесный ритм до него доходило ясное видение далекого мира, который появлялся перед ним из этой тетради в коричневом переплете. Такое впечатление было у него, когда он читал это первый раз, читал так, как если бы это была книга, написанная автором, которого он не знал. Но как только он

кончил читать, он опять начал все сначала - и тогда постепенно перед ним появилась Анна, сперва девочкой, потом подростком. Он видел перед собой отца Анны, ее учителей, аббата, вспомнил, что он тоже читал когда-то, очень давно, стихи Луизы Лабэ. Он никогда не был в Провансе, где стоял дом родителей Анны, но ему казалось, что он видит все это с необыкновенной ясностью, эти кипарисы и пальмы сада, этот красновато-желтый цвет стен, это сверкание южного солнца, эту красную землю, эту прозрачность горячего воздуха, этот полет ласточек, эти сумерки, эти ночи, эти дни. Ему представлялось, что из этой далекой картины идет к нему и все не может дойти девушка, которой он никогда не знал. Она принадлежала к совершенно чуждой ему среде, но это казалось ему неважным. Он прочел все до конца второй раз, разделся и лег в постель, но знал, что не заснет до утра. Он думал о том, что образ Анны, такой, каким он возникал из ее воспоминаний, - он представлялся ему очень отчетливым, - наивная лирика, ожидание того, что вдруг, в один блистательный день ее жизни, этот романтический мир откроется перед ней во всем своем великолепии, - тогда, когда в силу невозможного и невероятного совпадения чья-то воля сольется с ее волей, чье-то чувство будет таким же, как ее чувство, словом, когда осуществится этот идиллический и детский бред ее воображения. Он вдруг вспомнил свое собственное впечатление от Лувра и сожаление о том, что этих красок, этого мира пророков, героев и красавиц больше не существовало, как не существовало того, о чем мечтала Анна.

Ее воспоминания обрывались на том месте, когда она уехала из Прованса в Париж. Он лежал с открытыми глазами. Так вот кем было то бедное больное животное, которое он увидел в лесу, недалеко от дома Франсуа, это несчастное существо в грязном балахоне, - босые ноги, облепленные мокрой глиной, спутанные волосы, пустые светлые глаза! Вот кому принадлежало это тело, которое он так хорошо знал и которое он в течение долгого времени мыл и одевал, - в котором было всегда, до последнего месяца, нечто пугающее и нечеловеческое, потому что это было соединение тканей и мускулов, не одушевленное ни одним проблеском сознания. Теперь это тело, вероятно, стало другим. Но Пьер тотчас же забыл об этом и продолжал думать об Анне так, как будто она была почти отвлеченным видением. Кто мог подумать, - тогда, в лесу, у Франсуа, - что эти грубые и грязные руки

когда-то перелистывали страницы книг или нот, что эти пустые глаза видели раньше что-то иное, чем то зияющее небытие, в которое они, казалось, были так неподвижно устремлены? - Но мы победили это! - вдруг сказал он вслух с необыкновенной силой.

В комнату давно проникал дневной свет. Пьер встал, надел халат и пошел в ванную. Он делал все привычными движениями, но совершенно механически, думая о другом. Когда он вошел в столовую, он увидел Анну, сидящую в своем кресле.

- Мари, - сказал он. - Простите, Анна... Я хотел бы сказать очень много, но я сейчас не нахожу слов. Я прочел, что вы написали. Я хотел бы... Я не спал эту ночь, вы знаете...

Она подняла на него глаза, и Пьер встретил ее взгляд.

- Я тоже не спала, - сказала она. - Пьер, вы самый замечательный человек, которого я встретила в своей жизни.

С недавнего времени Пьер перестал думать о том, как сложатся его отношения с Анной и как будет идти их жизнь. Он знал, что это зависело не от него, а от решения Анны. То беспокойство, которое было у него раньше, когда он спрашивал себя, что будет дальше, теперь прошло. Он думал об Анне все время, но другие вопросы занимали его внимание. Он думал, что Анна никогда не найдет, не встретит человека, который мог бы не обмануть ее ожиданий, тех, о которых она писала в своих воспоминаниях. Для того, чтобы это произошло, - он повторял это себе много раз, - нужно столько удивительных совпадений, на что нельзя рассчитывать. Правда, под влиянием чувства, которое она могла бы испытать к какому-то человеку, эти требования Анны могли измениться, но это было бы с ее стороны - в какой-то мере-отказ от самой себя, искажение своего собственного образа, и оправдал ли себя этот отказ?

Анна сказала ему, что ей надо подумать несколько дней и что после этого она начнет писать вторую часть своих воспоминаний. Пьер чувствовал, - он не мог определить, с какого именно момента это началось, - что в жизни Анны наступает самый важный, как ему казалось, период. Но при этой мысли он не испытывал ни тревоги, ни волнения, которые были раньше.

Франсуа позвонил ему на службу, и Пьер условился встретиться с ним в кафе, как всегда. Он рассказал ему, что произошло за последнее

время, и долго говорил о воспоминаниях Анны.

- Это написано, - так мне кажется, ты понимаешь, я плохой критик, я не берусь судить, - с удивительной свежестью, и, читая это, ты ясно представляешь себе все. Когда я это прочел, я подумал, - вот с кем мы имели дело, Франсуа, вот кого ты поднял с дороги. Разве это можно было тогда представить?

- Ну, представить можно было все, что угодно, - сказал Франсуа. - Можно было ставить себе самые разные вопросы, зная заранее, что ни на один из них не будет ответа. Но что с ней было потом, со времени ее приезда в Париж и до июня сорокового года?

- Она мне сказала, что начнет писать об этом через несколько дней.

- Собственно, почему ей просто не рассказать тебе об этом?

- Мне кажется, я это понимаю, - сказал Пьер. - Я убежден, у меня в этом нет ни малейшего сомнения, что она напишет правду обо всем. Но, насколько я себе представляю, когда она пишет, ей самой все становится яснее и вместо беспорядочных воспоминаний в смешанной и спутанной последовательности перед ней возникает отчетливо то, что было. Я думаю, кстати говоря, что у нее есть несомненные литературные способности.

- Теперь о другом, - сказал Франсуа. - Ты не обращался больше к психиатру?

- Откровенно говоря, мне кажется, что в этом нет надобности.

- Практической надобности - может быть. Но тебе не хотелось бы понять, как все это произошло и как это могло произойти?

- Конечно, хотелось бы. Но я сомневаюсь, что кто бы то ни было, будь это даже специалист, мог бы это объяснить. Почему ты об этом заговорил?

- Я недавно встретил именно такого специалиста, это мой товарищ по университету. Очень дельный человек, между прочим, хотя несколько увлекающийся. Мы с ним ужинаем завтра, и я хотел бы ему все это рассказать, мне интересно знать, что он скажет. Ты ничего не имеешь против?

- Нет, - сказал Пьер, - мне тоже интересно было бы узнать его мнение.

- Послезавтра я тебе позвоню, - сказал Франсуа. Он ужинал со своим университетским товарищем на следующий вечер в ресторане,

огромные окна которого выходили на набережную Сены. Когда подали кофе, Франсуа сказал:

- А теперь я тебе расскажу одну историю, это непосредственно по твоей части, и буду тебе благодарен, если ты мне скажешь, что ты об этом думаешь. Так вот. Началось это давно...

Его собеседник, еще молодой человек, с очень спокойными и очень внимательными глазами, - по его взгляду было видно, что он привык направлять мысль других людей и что он привык к их добровольному подчинению, - слушал Франсуа, не выражая ни недоверия, ни удивления. Франсуа кончил рассказ и вопросительно посмотрел на своего товарища. Тот сказал:

- То, что ты мне рассказал, это изложение ряда неправдоподобных фактов. Так, как ты это рассказываешь, это происходить не могло.

- Парадоксальным образом это не мешает тому, что все происходило именно так.

- Я, может быть, неудачно выразился. Я хотел сказать, что это мне кажется клинически невозможным. Было что-то другое, самое важное, чего ты не знаешь.

- И чего не знает никто?

- Это стоило бы выяснить. Тогда всему этому можно было бы найти объяснение.

- Ты думаешь, вообще говоря, что все может быть объяснено? Ты не думаешь, что существуют вещи, явления, по отношению к которым слово "объяснение" теряет смысл?

- Если ты станешь на этот путь, ты отказываешься от анализа и от того, что называется научным исследованием.

- Ни в какой степени, - сказал Франсуа. - Я только думаю, что количество явлений в жизни значительно превосходит количество тех понятий, которыми мы располагаем для того, чтобы эти явления определить. Мы можем идти от простого к сложному или от сложного к простому. Но если того, что мы хотим понять, нет ни среди простых, ни среди сложных явлений, которые вы знали? Почему ты говоришь, что это клинически невозможно?

- Я говорю, что это не могло происходить так, как ты это рассказываешь, тут чего-то не хватает. Как и почему она впала в то состояние, в котором она прожила несколько лет, какой шок мог

вызвать это? То, что она пришла в себя после менингита... Она не упала ни разу во время болезни или до болезни?

- Не знаю, - сказал Франсуа, - надо спросить Пьера.

- Вот что касается Пьера, - сказал его собеседник, - тут все гораздо яснее.

- Что? - удивленно сказал Франсуа. - Яснее? Почему?

- Что он собой, по-твоему, представляет? Это твой старый товарищ, ты знаешь его давно, и ты мне рассказал приблизительно его жизнь. Что ты о нем думаешь?

- Это я тебе скажу, - ответил Франсуа. - Но мне интересно знать, что ты думаешь и почему тебе все так ясно?

- Это человек, у которого нет, как это говорится, резко выраженной индивидуальности.

Франсуа вспомнил статью о среднем французе.

- У твоего Пьера нет честолюбия, у него нет личной цели в жизни. В нем нет, если хочешь, какого-то творческого начала. Если его оставить одного, он не будет знать, что с собой делать. Но у него, как у всех людей, есть душевная энергия, которую ему не на что направить. Он не может себя найти поэтому он неизбежно идет к раздвоению личности. Он должен жить не для себя, а для кого-то другого - и в этом он находит удовлетворение. Ты понимаешь, говоря образно, он смотрит в эту чужую жизнь и только там он видит отражение самого себя - искаженное, неправильное, частичное, но все-таки отражение. Полноты образа тут нет, и его личные возможности наполовину парализованы. Но все это, конечно, не мешает ему быть отличным человеком с несомненными достоинствами.

Франсуа покачал головой.

- Ты со мной не согласен?

- То, что я с тобой не согласен, это не так важно, - сказал Франсуа. В конце концов, может быть, ты его обрисовал правильно с точки зрения твоей собственной терминологии. Но эта терминология мне не кажется убедительной. Что такое раздвоение личности? И где граница между ее клиническим значением и творческой силой воображения, той самой, которая заставила Флобера сказать эти слова - ты их не можешь не помнить: "Мадам Бовари - это я! "? Что это, как не раздвоение личности, которое доходило до того, что у него была

рвота, когда он описывал ее отравление? Но оставим искусство потому, что никакой анализ никогда не объяснит возможности появления таких людей, как Микеланджело, Дюрер, Шекспир, Толстой. Я тебе скажу, что я думаю о Пьере. Он не фанатик, не святой, он не из тех, кто готов посвятить свою жизнь уходу за прокаженными, он не склонен ни к какой экзальтации. Но он способен сделать то, чего мы с тобой сделать не можем, и именно потому, что в нем есть творческая сила, которую ты у него отрицаешь. Он способен создать и построить мир, ты понимаешь? Какую волю надо было иметь, чтобы сделать то, что он сделал! Какой огромный запас душевной силы! Если хочешь, он действительно живет не для себя. Но что значит жить для себя? И для кого, в конце концов, он строит тот или иной мир? Ты понимаешь, что это такое победа над небытием?

- Без ее болезни и чего-то другого, чего мы не знаем, этой победы не было бы.

- Я в этом не уверен, - сказал Франсуа. - Я знаю только, что без него она до конца вела бы, вероятно, то жалкое животное существование, которого я был свидетелем.

- Мы все склонны совершать одну ошибку, - ответил приятель Франсуа. Эта ошибка, о которой ты косвенно упомянул, - оставаться в пределах тех понятий, которыми мы оперируем, так, как будто бы не жизнь создает понятия, а понятия создают жизнь. Я лично всегда стремился этой ошибки избегать. Может быть, ты прав в своем суждении о Пьере, но я должен тебе сказать, что оно не очень противоречит тому, что я о нем думаю, - разница тут главным образом, как ты говоришь, терминологическая. Я говорю "раздвоение личности", а ты говоришь "построение мира", - но одно другого не исключает. То, что я думаю на основании моего опыта и очень долгих размышлений, повлекших за собой известные выводы, - я думаю, что в результате этой победы над небытием, как ты поэтически выражаешься, что меня удивляет, кстати, потому что ты журналист...

- Журнализм приучил меня к вульгаризации и упрощению, это верно, сказал Франсуа, - но вне этого профессионального обязательства я оставляю за собой право на некоторую свободу выражений, которая в газетной статье на политическую тему была бы неуместна. Ты говоришь, что ты думаешь...

- Я думаю, что теперь, после того что он сделал, Пьер, может быть, наконец найдет себя.

На следующий день Франсуа подробно рассказал Пьеру об этом разговоре. Да, она упала с кровати, я, может быть, тебе об этом не говорил? - сказал Пьер. - Я как-то ночью, сидя в кресле в ее комнате, заснул и проснулся от шума падающего тела. Она металась в бреду и упала на пол. Когда я ее поднял, она была без сознания. Но она и до этого была без сознания. Никаких повреждений, однако, на ее теле я не заметил и думаю, что их не было. В конце концов, может быть, это падение и вызвало повторный шок, кто знает?

Несколько изменив выражения, Франсуа повторил Пьеру то, что ему говорил его товарищ. Пьер пожал плечами.

- Мне все это кажется какой-то фантазией, - сказал он. - При чем тут раздвоение личности? Все это гораздо проще. Ты видишь рядом с собой несчастное существо, которое заслуживает лучшей участи. У тебя есть возможность это положение как-то изменить. Ты это делаешь - и больше ничего. Что тут особенного?

- Все зависит от того, как мы к этому подходим. То же самое положение можно представить себе иначе. Чья-то жизнь сложилась определенным образом. Если ты фаталист, ты скажешь, что так было суждено. Но ты с этим примириться не можешь, и ты хочешь заставить события идти не так, как они идут, а так, как они, по-твоему, должны идти. Ты действуешь таким образом против судьбы, ты начинаешь борьбу с ней.

- Ты меня извини, Франсуа, но у тебя все это приобретает, может быть помимо твоего желания, какую-то литературно-художественную форму. Какая тут борьба против судьбы? Ты просто, в меру твоих возможностей, кому-то помогаешь, и больше ничего. В одном я с тобой согласен: судьба часто бывает несправедлива, - если можно как-то связать эти понятия, судьба и справедливость. И вот, если тут ты можешь что-то сделать, то это, конечно, дает тебе известное удовлетворение.

- Видишь, ты сам себе противоречишь. Потому что ты все-таки хочешь изменить естественный ход событий.

- Восстановить, - сказал Пьер, - не изменить, Франсуа, а восстановить. И я могу тебе сказать без колебаний, что это, по-моему,

стоит сделать.

Франсуа внимательно посмотрел на Пьера. Потом он сказал очень медленно:

- А если она теперь уйдет и ты ее потеряешь?

- Для меня это было бы катастрофой, - сказал Пьер. - Мы с тобой уже об этом говорили. Но это ни в какой степени не будет значить, что я действовал неправильно. Кроме того, и ты и я, мы склонны к преувеличению. Наша роль, моя в частности, значительно скромнее, чем может показаться на первый взгляд. Ты ее поднял с дороги, я по отношению к ней выполнял в течение некоторого времени, скажем, долг фельдшера, и все это, конечно, не дает нам на нее никаких прав.

- Прав не дает, это верно. Но я думаю, что если ты ее спросишь, какую роль ты играл в ее жизни, то я сильно сомневаюсь, что она назовет ее скромной.

- Ей сейчас тоже трудно судить об этом объективно, - сказал Пьер.

Когда Пьера не было дома, Анна много раз подходила к телефону, хотела снять трубку и позвонить, но не могла на это решиться. Она знала, однако, что нужно было как-то действовать, нужно было наконец узнать очень важные вещи. Что произошло за эти годы? Где теперь Жак? Что теперь в Провансе? Обо всем этом она не имела представления. Она нашла в телефонной книге номер своей прежней парижской квартиры, но против него была теперь другая фамилия, значит, Жака там не было. Зато телефонный номер ее двоюродного брата, Бернара, и его адрес были те же, что до войны, и именно к нему нужно было, конечно, обратиться. Ей казалось, хотя она понимала, насколько это нелепо, что если она позвонит Бернару и узнает от него все, что произошло за это время, то это как-то может изменить то, что было теперь и от чего она не хотела и не могла отказаться.

Она думала обо всем этом, особенно вечером, когда ложилась в постель. В последнее время она стала плохо спать. Но это ее не раздражало, как раньше. Она знала это состояние, оно было таким же, как в начале ее жизни, когда ей было шестнадцать лет. Это было смутное ожидание, значения которого она тогда не понимала. Но теперь оно не вызывало у нее ни волнения, ни усталости. Несколько раз она видела один и тот же сон: ей снилось, что она поднимается по

узкой горной тропинке, что она поднялась очень высоко и почему-то не может вернуться тем же путем назад. И когда она наконец добирается до вершины горы и боится посмотреть в ту пропасть, которая должна открыться перед ее глазами, она вдруг видит, что она в долине, что нет ни пропасти, ни гор, что все ровно и спокойно, что спускаются медленные сумерки и она знает, что ей недалеко до того места, куда она идет. Потом ей снились путешествия, поезда, пароходы, зыбь моря, и в этих снах не было чаще всего ни смысла, ни содержания, это были ощущения - ветер, врывающийся в окна вагона, вздрагивание колес на стыках рельс, размах волны, которую пересекал пароход.

Каждый вечер после ужина она подолгу говорила с Пьером. Но ни она, ни он не говорили о том, что было самым важным.

- Пьер, вы никогда не думали о том, что бы вы сделали, если бы были богаты?

- Нет, - сказал он улыбаясь. - У меня очень убогое воображение, и я об этом никогда не думал. Но, вы знаете, так как нет решительно никаких оснований полагать, что я когда-нибудь разбогатею, то в конце концов не так важно, что я не буду знать, как я использую то богатство, которого у меня не будет.

- Ну, а все-таки что бы вы сделали, если бы оно у вас было?

- Не знаю, - сказал Пьер, продолжая улыбаться. - Вероятно, растерял бы и чувствовал бы себя несчастным.

- И вы никогда не мечтали о возможности разбогатеть?

- Нет, - сказал он, - кажется, нет, не помню. Знаете, Мари, - он долго не знал, как ее называть, и говорил то Мари, то Анна, но потом стал опять называть ее Мари, - это, по-моему, не очень интересно. Когда я был мальчиком, я мечтал о далеких путешествиях. Но я никогда не думал в то время, что для этого нужны деньги.

- А потом вы все-таки путешествовали? Вы были за границей?

- Нет, - сказал он. - Я плохо знаю даже Францию. У меня никогда не было возможности поехать за границу.

Ложась в постель, она тушила свет, и тотчас же мысли и образы возникали перед ней так, точно они рождались только во тьме, точно свет мешал их появлению. Днем она нередко думала о том же, о чем она думала в начале ночи, но эти же мысли были несколько иными,

недостаточно полными, не доведенными до конца. В темноте они приобретали другой характер, более углубленный и более ясный.

Еще некоторое время тому назад она думала, что, если бы она встретила Пьера на улице, она никогда не запомнила бы его лица. Теперь ей казалось, что она никогда не забыла бы его небольшие, широко расставленные глаза, линию его мягких губ, его улыбку, неуверенную и доброжелательную одновременно. У него были узкие плечи, маленькие руки и ноги, но она видела однажды, как он переносил без всякого усилия тяжелую швейную машину из одной комнаты в другую и все его движения отличались безошибочной точностью. Что еще удивляло Анну, это его необычайная память, он помнил все даты, все телефонные номера, помнил, когда именно происходили те или иные события. Когда она как-то сказала ему об этом, он ответил:

- Да, это какая-то механическая вещь, но ценности она, по-моему, не имеет. Можно все запомнить и ничего не понять. Тогда уж лучше меньше помнить и больше понимать.

Анна продолжала писать вторую часть своих воспоминаний. Но за несколько дней до того, как она ее кончила, она решила, что нельзя больше откладывать необходимых и неизбежных решений. Она написала и отправила своему двоюродному брату, Бернару, письмо, в котором сообщала, что она жива и здорова, что хотела бы с ним о многом поговорить и что в конце недели она позвонит ему по телефону. Все эти дни она была беспокойна и не могла скрыть своего волнения - настолько, что Пьер это заметил и сказал ей:

- Мари, мне кажется, что вы чем-то очень озабочены. Может быть, я мог бы вам чем-нибудь помочь?

- Нет, Пьер, спасибо, - сказала она. - Я знаю, что могу на вас рассчитывать.

- Во всем и всегда, - сказал он с непривычной для него твердостью.

Вторую часть своих воспоминаний Анне было гораздо труднее писать, чем первую. Она хотела сначала рассказать обо всем сравнительно коротко, изложив только факты и умолчав о том, о чем, в сущности, можно было и не говорить. Но потом решила, что не может так поступить по отношению к Пьеру. Она решила, что он должен

знать о ней все, чтобы не осталось ничего недосказанного. Она подробно описала все, что касалось ее замужества, свою жизнь с Жаком, свои преждевременные роды, свою глубокую душевную подавленность, свои жалкие - как она их называла - попытки найти счастье или видимость любви на стороне, то, как в течение последнего года ее брака она почти не выходила из своей комнаты.

Она писала, что именно тогда она поняла, как ей казалось, что ее длительное ожидание той полноты жизни, о которой она мечтала столько лет, и ее надежда на это были основаны на чудовищной ошибке: она думала, что все это существует не только в ее воображении, но и в действительности. Но потом она убедилась, что этого не было и что этого нельзя найти. Ей было, как она писала, трудно жить, трудно говорить с людьми, она не могла привыкнуть к той атмосфере неизменного и безвыходного непонимания, которая была характерна для ее отношений с Жаком, самые простые вещи утомляли ее - и, в конце концов, это состояние было не лучше того, в каком нашел ее Пьер. И в том ощущении конца света, которое она испытывала тогда, попав под бомбардировку, было нечто одновременно трагическое и утешительное, и у нее было впечатление, что гибнет мир, о котором, может быть, не стоит жалеть.

Опять, как в прошлый раз, она дала свою тетрадь Пьеру вечером, после ужина. Она сказала:

- Я написала все, Пьер, - то, о чем обычно не говорят и не пишут. Я не знаю, что вы подумаете об этом.

И опять, как в прошлый раз, Пьер не спал эту ночь. В его памяти возникали все подробности воспоминаний Анны о второй части ее жизни. Он старался понять каждое ее душевное движение, и чем больше он думал об этом, тем больше ему казалось, что, в сущности, противоречие между первой и второй частью жизни Анны носило искусственный характер. Она не изменилась, думал он, изменились только внешние условия, и изменились так, что это грозило ей гибелью. - Она просила хлеба, и ей дали камень, - шептал он, лежа в кровати с открытыми глазами. - Как ей это объяснить?

Когда он увидел ее утром, он сказал:

- Во второй части ваших воспоминаний есть очень печальные вещи, которых нет в первой. Но в них, мне кажется, нет ничего, в чем вы могли бы себя упрекнуть. Мы поговорим об этом, хорошо?

В этот день, первый раз за все время, она пошла провожать его до двери. И когда он был на пороге, она вдруг схватила его руку и крепко сжала ее. Ему показалось, что он теряет сознание. Он обернулся и посмотрел на нее.

- Идите, Пьер, - сказала она шепотом, - мы поговорим вечером.

Когда Пьер ушел, она вспомнила, что была пятница, конец недели, и что если Бернар получил ее письмо, он должен ждать ее звонка. Она подошла к телефону и набрала его номер.

- Алло! - сказал далекий, как ей показалось, голос Бернара.

- Здравствуй, Бернар, - сказала она, - это я, Анна.

- Анна! - закричал он. - Анна! Это действительно ты? Но это невероятно! Что с тобой было? Мы все считали тебя погибшей. Где ты? Что с тобой?

- Я тебе это расскажу, - сказала она спокойным голосом, которому сама удивилась. - Но для этого мы должны встретиться. Я не хочу приходить к тебе, я предпочитаю кафе.

- Где угодно, когда угодно, - сказал он.

- Сегодня в четыре часа в том единственном кафе, которое рядом с твоим домом, если оно еще существует.

- Да, да, - поспешно сказал он. - Я буду тебя ждать. Я просто не верю своим ушам.

Бернар был инженер, так же как и Жак. Он изменился за эти годы, пополнел, стал как-то важнее, чем был раньше, и потерял тот юношеский облик, который помнила Анна. Войдя в кафе, она сразу увидела его и подошла к его столику. Он быстро поднялся и крепко обнял ее.

- Это чудо, Анна, - сказал он. - Пстой, дай на тебя посмотреть. Что-то в тебе изменилось. Глаза, Анна, у тебя другие глаза. В остальном ты как будто такая же.

- Мне надо задать тебе несколько вопросов, - сказала она.

- Прости меня, пожалуйста, - сказал он, - ты не думаешь, что прежде чем задавать мне вопросы, ты могла бы сказать, что с тобой случилось и где ты была все это время?

- Это я тебе скажу. Но я хотела бы прежде всего узнать, жив ли Жак и где он, если он жив.

- Жив, был в плену, - сказал Бернар. - Потом его все-таки выпустили и он вернулся в Париж. Его завод делал поставки для оккупационной армии. Жак тут был совершенно ни при чем, но потом, ты понимаешь, для него создалось довольно неприятное положение и он уехал из Франции. Он теперь представитель своего предприятия в Южной Америке и большую часть времени живет в Аргентине. Он очень изменился, особенно за время плена, у него теперь взгляды совершенно другие, - ты помнишь, каким он был ревностным католиком? Ничего от этого не осталось. Он там, в Аргентине, живет с какой-то женщиной, от которой у него ребенок, сын. Твой дом в Провансе, - это, по-моему, важнее, чем Жак, - в том же виде, как раньше, только у сторожа другая собака. Все твои дела ведет наш нотариус, старик Видаль, - ты помнишь его? Он же содержит дом, он все очень неплохо устроил, так что ты, в общем, обеспечена. Мы все считали тебя погибшей. Но когда я говорил об этом с Видалем, он мне заявил, что пока нет неопровержимых доказательств того, что ты нас "покинула окончательно", как он выразился, он будет действовать так, как если бы ты была жива, но находилась во временном отсутствии.

Бернар был любимым племянником отца Анны. В ранней своей молодости он не отличался примерным поведением, крупно играл в карты, водился с сомнительными людьми, пил, проводил ночи в кабаках и все никак не мог уговориться - до того, как после очень крупного скандала он дал отцу Анны слово вести себя иначе и с этого дня изменился: стал усердно учиться, сдал все экзамены и поступил на службу, где прекрасно себя зарекомендовал. - Вот говорят, что метаморфоз больше не бывает, - сказал после этого отец Анны. Очень даже бывают. То, что случилось с Бернаром, в своем роде не менее удивительно, чем то, о чем рассказывается в греческой мифологии.

Анна помнила Бернара - он был старше ее на пять лет - сначала мальчиком, потом юношей, он часто проводил лето у ее родителей; он учил ее играть в теннис и плавать, и она сохранила о нем самое лучшее воспоминание. В последние годы, после своего замужества, она встречала его очень редко, когда он как-то был у нее и Жака в их парижской квартире и Жак весь вечер развивал свои теории, Бернар потом сказал Анне:

- Он страшный ханжа, твой муж, как ты могла выбрать такого человека? Это какой-то ходячий молитвенник, а не мужчина.

- Теперь ты мне скажи, что было с тобой и куда ты исчезла? - сказал Бернар. - Все, что я знаю, это что когда к Парижу подходили немцы, ты села в автомобиль и уехала. После этого никто никогда не видел ни тебя, ни автомобиля.

- Ты знаешь, Бернар, это такая страшная вещь, - страшная и неправдоподобная, - что когда я думаю об этом, я просто теряюсь. Как это тебе рассказать? Я даже не могу сказать, что я погибла. Меня больше не было. Та самая Анна, которую ты знал столько лет, с которой ты играл в детстве, перестала существовать, умерла, если хочешь. И эта смерть продолжалась все эти годы, до самого последнего времени.

- Смерть не может продолжаться, Анна. Смерть наступает один раз.

- Это так и было бы со мной, если бы...

- Если бы что?

- Нет, - сказала Анна, - я начну сначала. Ты помнишь аббата Симона?

- Ну как же, - сказал Бернар. - "Дитя мое, вы должны понять..." Но при чем тут аббат - Симон?

- Я вспомнила о нем потому, что он объяснял мне смысл Апокалипсиса. И вот последнее, что я видела до той минуты, после которой я перестала существовать, я хочу сказать, я, как Анна Дюмон, - это было похоже на апокалиптический конец света. И вот...

Она подробно рассказала Бернару о том, что с ней произошло. Ни она, ни он не замечали, как шло время. Когда Анна кончила говорить, был уже десятый час вечера.

- Это нельзя назвать иначе как чудом, - сказал Бернар. - Значит, все эти годы, когда мы ломали себе головы над совершенно бесплодными догадками о том, как и где ты могла погибнуть, ты жила там, в этом домике в лесу, не зная, кто ты такая, и не понимая даже, что ты продолжаешь существовать. Но чудо в том, что нашелся человек, который вернул тебя к жизни. Он что - врач? Он богат? Кто он такой?

- Он бухгалтер по профессии, никакого состояния у него быть не может. Ты думаешь, что это имеет какое-нибудь значение?

- Нет. Я думаю, что это не имеет ни малейшего значения, - сказал Бернар.

И только тогда Анна взглянула на стенные часы и увидела, что они показывали половину десятого.

- Я должна идти, - сказала она. - Я тебе позвоню на днях, и мы продолжим наш разговор. - Она быстро вышла из кафе и поехала домой.

Пьер плохо понимал то, что ему говорили в тот день. Внешне это никак не отражалось на нем, и этого не заметил ни один из его сослуживцев. Но все, что он слышал и воспринимал, доходило до него заглушенным и едва понятным, теряясь в том воспоминании необыкновенной силы, которое не покидало его, рука Анны, сжимающая его руку. Он все время продолжал чувствовать этот горячий зажим ее сухих и сильных пальцев, и в этом ощущении плохли голоса и звуки вокруг него. Он ушел со службы раньше, чем обычно.

Он вошел в квартиру и сразу почувствовал, зная, что не может ошибиться, что Анны нет. Было пять часов дня. В это время она всегда была дома. Не понимая, что он делает, не понимая, зачем он это делает, он закричал:

- Мари! Где вы? Мари!

Он быстро вошел в ее комнату. Все было в таком виде, как будто она только что была тут. Может быть...

Он сел за стол и охватил голову руками. Она сказала - мы поговорим вечером, - значит, она не собиралась уходить. Но может быть, это было нечто вроде прощания, так же, как то, что она сжала его руку, может быть, это были ее последние слова и последнее движение?

У него болело сердце. Может быть, с ней случилось несчастье? Она могла упасть на улице, попасть под автомобиль. Нет, это все-таки было маловероятно. С другой стороны, если бы она не решила уйти, ее не могло бы не быть дома в этот час. Но почему она даже не оставила ему записку, несколько слов, - разве он не заслужил этого? Боль в сердце мешала ему думать. Он встал, сделал несколько шагов по комнате и сел в то кресло, в котором обычно сидела она. В конце концов, на что он мог рассчитывать? Какое он имел право на что-либо

рассчитывать? И что могло быть, в конце концов, естественнее, чем ее возвращение в тот мир, где она раньше жила? Пьер, однако, знал рассудком и чувствовал всей душой, что этого не могло быть. Кроме того, Анна не могла принять такого решения и даже не сказать ему об этом, - Анна, которая с такой искренностью и таким бесконечным доверием к нему рассказала ему в своих воспоминаниях всю свою жизнь, Анна, - ее изменившийся после болезни голос, теплый взгляд ее глаз, ее медленное и неудержимое приближение к нему, о котором он старался не думать, но которого он не мог не чувствовать, - нет, Анна не могла уйти. Но что же в таком случае могло произойти? Что можно было сделать? Где ее можно искать? Единственное, что оставалось, это ждать. Но ему казалось, что на это ему не хватит сил.

Потом наступило состояние, похожее на душевное оцепенение. Некоторое время он не думал больше ни о чем, ему было больно, и он даже не мог бы сказать, где именно он чувствовал эту боль, - она была всюду. Затем он опять встал, сделал несколько шагов и снова сел в кресло. Он вдруг увидел перед собой Анну, такой, какой она была теперь, ее лицо с тяжеловатыми чертами ему вдруг вспомнились эти слова ее отца, - с теплым взглядом ее глубоких глаз, ее улыбку и услышал опять ее незабываемый шепот: мы поговорим об этом вечером, Пьер. Она имела право действовать так, как она хотела... Анна Дюмон, которая просто никогда не знала бы о его существовании, если бы не эта ее многолетняя душевная смерть и необыкновенное количество удивительных совпадений. Если бы не это... В конце концов, он, Пьер Форэ, на что он мог претендовать? Он думал об этом и в то же время чувствовал, что все эти соображения были совершенно вздорными, что все было не так. Позвонить в комиссариат полиции? Он знал, что ему оттуда ответят:

"Подождите несколько дней, какие у вас основания думать, что с ней что-то случилось?"

Он знал, что Анна и все чувства, ощущения и мысли, которые были с ней связаны, это был мир, вне которого для него ничего не существовало. Если бы этого мира не стало, его жизнь не имела бы никакого смысла ни для других, ни для него самого. Он сделал то, что он должен был сделать, и на этом его роль была кончена. Теперь он был больше не нужен. У него была бедная жизнь, потом перед ним возник необыкновенный и блистательный мираж, который ему было

суждено увидеть, почувствовать и понять, - Анна и ее возвращение из небытия, - но в котором ему не было места. Все было ясно, все было естественно, и даже если в этом было то, что лишало его собственную жизнь всякого смысла, это ничего не меняло и это возвращение Анны было несравненно важнее, несравненно значительнее, чем его существование или прекращение его существования.

В комнате было давно темно, он не подумал о том, чтобы зажечь свет. На смутно белеющем циферблате настенных часов стрелки показывали без четверти десять. Теперь было ясно, что Анна не вернется. Но может быть, она завтра позвонит ему? Может быть, она напишет ему? Может быть, она объяснит ему... и он скажет ей... Может быть...

С необыкновенной отчетливостью он услышал, как поворачивается в двери ключ. Он повернул голову. С порога голос Анны сказал:

- Пьер, вы здесь?

Вместо ответа она услышала глубокий, хриплый звук, похожий, как ей показалось, на сорвавшийся стон.

- Пьер, что с вами? - закричала она. Она зажгла свет. Пьер сидел за столом, опустив голову, плечи его вздрагивали. Она подошла к нему, теплая ее рука обняла его. Она сказала:

- Теперь все кончено, Пьер. Я вас больше никогда не оставлю.

Он чувствовал ее руку на шее и прикосновение ее тела. Он не мог сказать ни одного слова. Он поднялся со стула и увидел так близко, как никогда, ее глубокие глаза.

- Да, Пьер, - сказала она, - да. И если бы было нужно опять все начинать сначала, зная, что вы придете за мной, я бы не колебалась ни минуты.

- Я бы тоже не колебался ни минуты, - сказал Пьер. Это были первые слова, которые он произнес после того, как она вошла в квартиру.